Анна Гарф



КОЖАНЫЕ БАШМАКИ

Д



Анна Гарф

КОЖАНЫЕ БАШМАКИ



ПОВЕСТЬ

ПЕРЕИЗДАНИЕ

РИСУНКИ Г. ВАЛЬКА



МОСКВА
"ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1988

ББК 84Р7
Г20

Между реками Волгой и Свиягой, между городами Тетюши и Буинском стояла много лет назад небольшая деревенька. Её не на всякой карте можно было найти, да и не всегда обращали на неё внимание те, кому приходилось проезжать мимо или пролетать над ней в самолёте, хотя в те времена самолёты поднимались не так уж высоко и летали не так уж быстро. Ни учёные-путешественники, ни туристы-пешеходы сюда не заглядывали. И всё же те, кому доводилось бывать здесь в те далёкие годы, деревню эту и её жителей-тружеников помнят до сих пор. Бывало, весною, будто клетчатым рядном, окружали эту деревню зелёные квадраты озимых полей и чёрные клинья пашен. А летом словно пряталась она за светлыми волнами колосьев, за высокими луговыми травами.

Но теперь это уже не маленькая деревенька, а большое благоустроенное селение, видное издалека. Почти в каждом доме телевизор, холодильник, стиральная машина. Во многих дворах гаражи с автомобилями. И только экспонаты местного музея напоминают молодым о прежнем.

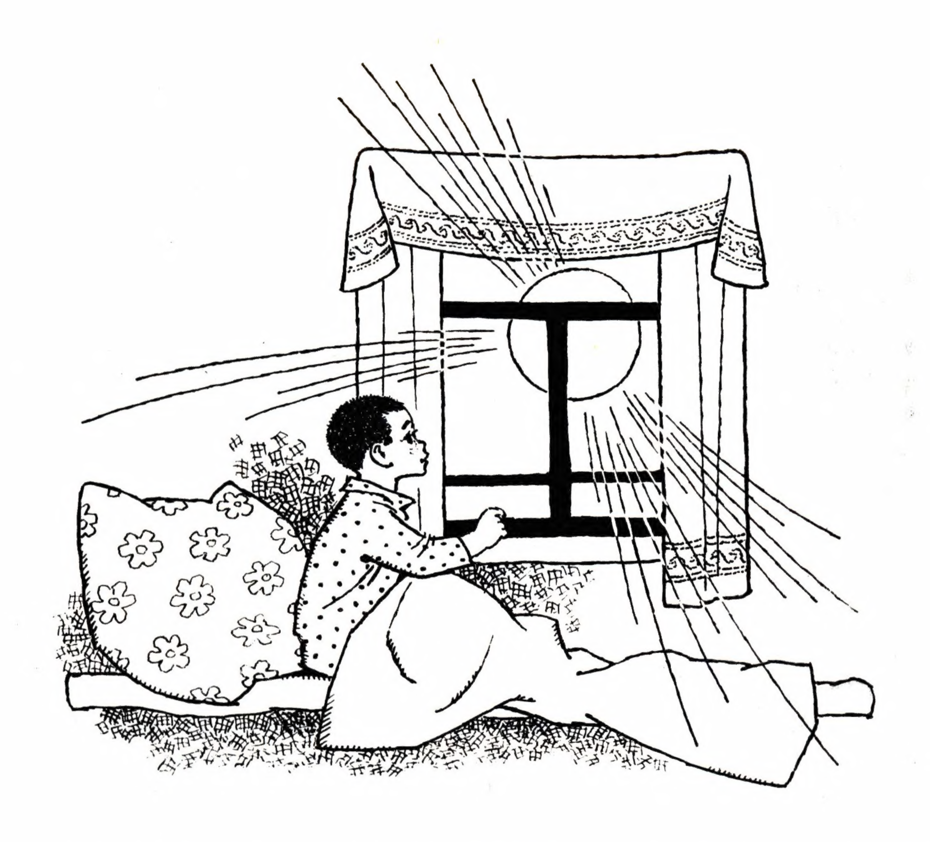
О людях, живших в этой деревне в годы войны, об их горестях и радостях рассказала писательница Анна Львовна Гарф в повести «Кожаные башмаки».

Рассказы Анны Гарф, очерки, книги давно известны детям и юношеству. Но больше всего автор любит сказки. И повесть эта насыщена песнями, поговорками, народным юмором. И хотя говорится на этих страницах о событиях горьких, печальных, книгу читаешь с улыбкой, с верой в победу добра, любви и труда.

Оформление
М. Трубецкого

Г $\frac{4803010102-205}{М101(03)88}$ 186—88

ISBN 5—08—001252—8



Брат Мустафа взял из ящика с инструментами свой молоток, подержал его в руке, вздохнул и подарил Миргасиму.

Молоток этот с одного конца тупой — гвозди забивать, другой конец — дёргать гвозди — длинный, раздвоенный, будто хвост у ласточки.

— Я ухожу с фашистами воевать,— сказал Мустафа братишке,— а ты тут живи мирно.

Миргасим хотел бы мирно жить, но стоит ему из дому на улицу выскочить, как соседи начинают:

— Опять ты в нашу стену гвоздь вбил?

— Сейчас вытащу.

— Эй, зачем из нашего плетня гвоздь вытащил?

— Сейчас вобью.

Ни с кем он не спорит, никому не перечит, но люди каждый день маме жалуются:

— С утра он стучит молотком и до ночи... Вы работаете на ферме, вам не слышен этот стук. А нам каково?

Терпела мама, терпела и не вытерпела:

— Положи, Миргасим, свой молоток в ящик с инструментами. Пусть отдохнёт немного.

— Ладно, лежи тут, молоток, отдыхай. А я пока поработаю граблями.

Ох уж эти грабли! Ну и влетало, ну и попадало из-за них!

Что поделаешь? Сам-то он человек мирный, но, должно быть, народ в этой деревне какой-то заколдованный...

Глава первая

МИРГАСИМ, СЫН ГАРИФА

— А-апчхи!

Проснулся Миргасим или во сне чихнул?

«Чим-чив, тереререре! Что ты-ты делаешь?» — трещат воробьи за окном, картавят, будто в клюве камешки перекатывают.

Стучат по стеклу, заглядывают в щель между занавесками:

«Миррр-мирр-Миргасим, ты-ты! Что ты делаешь?»

Не видите? Он думает. Знаете, как это трудно? Хоть немного помолчите, думать не мешайте.

Куда там, где уж тут молчать, когда из-за края земли выкатилось большое, с колесо телеги, солнце! Прыгают воробьи, будто мячики пушистые, и говорят, говорят.

Чему радуетесь? Письмо с фронта пришло нам, что ли? Отец прислал или, может, Мустафа, старший брат?

Второй брат Миргасима, Зуфер, тоже хотел на фронт. Четырнадцать лет ему, а здоровый какой! Мешок с зерном может поднять. Взвалит на спину и даже в гору потащит, если потребуется. Но военком сказал:

«И на трудовом фронте, дружок, кому-то сражаться надо. Ты теперь старший мужчина в доме, незаменимый работник в колхозе».

Старший мужчина, подумаешь! Вчера весь вечер грозился:

«Не смей, Миргасим, граблями на девочек замахиваться. Отберу — спрячу».

Грабли — это отцов подарок. Миргасим поставил их на ночь к изголовью, хотел до утра сторожить, да уснул нечаянно.

«Где же грабли? Неужто Зуфер и вправду спрятал?»

Миргасим протянул руку, откинул занавеску, и рассыпались по комнате солнечные блики, прозрачные, как стекляшки. И грабли тут же показались, заискрились, солнцу они откликнулись. Ведь не простые они — волшебные. Стоит взглянуть, и сразу вспомнится, как отец своими руками эту игрушку делал. Хотел Миргасиму в день рождения подарить, когда семь лет исполнится ему. А пришлось подарок вручить пораньше, задолго до заветного дня.

«Даю тебе, сынок, в долг, за будущие трудодни»,— пошутил отец, когда на войну собрался. Он спешил. Шёл, не оглядывался и провожать не позволил: «Долгие проводы — лишние слёзы».

Зачем так сказал отец? Мама и бабушка вовсе и не плакали, только счастья воину уходящему пожелали.

А Миргасим, Миргасим-то как радовался! Даже песенку придумал и запел, приплясывая:

«Брат Мустафа уходил — молоток подарил. Отец на фронт идёт — сыну грабли даёт!»

Эх, давно всё это было, месяц назад, а может, и больше...

Захлопал во дворе крыльями петух, как громом загремел, и заорал на всю улицу:

«Ми-ми-Миргаси-и-им!!»

«Куда-куда он делся? — всполошились куры.— Куд-куда, куд-куда-а?..»

Услыхал это Миргасим, рассмеялся. А засмеёшься — спать уж и не хочется. Знали бы птицы, что по-птичьи он понимает, не кричали бы так громко.

Кто птичьему языку научил? Отец! А то кто же?

Утренним светом стены комнаты будто мёдом налились, и соломенная шляпа отца засияла, как золотая. Она всё ещё висит против двери, на гвозде, на своём всегдашнем месте. Вернётся отец, наденет шляпу, выйдет в поле и глазам своим

не поверит: как потяжелели, налились зерном колосья, пока воевал! К осени должны люди войну кончить. Без мужиков хлеб с полей кто уберёт? Тяжёлая это работа, бабам не под силу. Потом пора настанет картошку копать, возить — тоже дело мужское. А главное — пахота осенняя, женское ли это занятие? Если землю вспашут кое-как, то и озимые кое-как взойдут. Худо в деревне без мужиков, худо...

Под соломенной шляпой ещё один гвоздь Миргасим в стену вбил. Отцу, когда вернётся, интересно будет — чья это шляпа на том, на другом гвозде висит? Белая матерчатая, панамкой называется. Это девчонки одной приезжей, Асии-москвички шапка. Вчера Миргасимова мама панамку эту постирала и повесила сушить. Для чего мама чужую шляпу стирает? А как же иначе? Родители Асии на войне. И мать, и отец. Девчонку свою они ещё в начале лета прислали, на каникулы. К Абдракипу-бабаю, он ей дедушка родной. Сами тоже хотели приехать в отпуск, давно, говорят, не были в деревне, соскучились. А тут война. И поехали не сюда, а на фронт. И не подумали, кто будет их дочке одежду стирать, кто станет девчонку в бане мыть. Дедушка-то в колхозном саду совсем один живёт. Вот и взялась Миргасимова мама. Мало ей своей работы, что ли? И баню для Асии топит, и голову ей кислым молоком моет, чтобы волосы блестели. У дедушки своего Асия только ночует, но весь день здесь торчит:

«Ой, Миргасим, почему ты уши не помыл?.. Ах, пожалуйста, не плюй на пол!..»

Вчера вечером пришло ей письмо, отец пишет — скоро не ждите, враг силен, но мы сокрушим его.

Вся деревня собралась письмо послушать. Женщины вздыхали, а старый Абдракип-бабай глаза рукавом тёр, говорит — соринка попала, что ли.

Письмо было русское. Асия читала вслух по-русски, потом по-татарски пересказывала. Мать-то у неё, как все, татарка, она Абдракипа-бабая дочь. Интересно знать, кто отец? Почему по-русски пишет?

Когда гости ушли, Миргасим спросил Асию:

— Почему твой папа пишет не по-нашему? Чуваш он или мордва? А может, цыган?



— Хоть бы и цыган, тебе-то какое дело? Он на фронте!

А сама кулаками так и молотит, не смотрит даже, куда бьёт — по спине ли, по голове ли. Большая, десять лет ей, не меньше, а с мальчиком дерётся. И не стыдно? Пришлось граблями погрозиться:

«Уходи, приезжая, чужая!»

Но тут-то и налетел Зуфер:

«Отберу, спрячу».

«Вот ещё, как же! Грабли — отцовский подарок. Будь ты хоть самый старший мужчина не только в доме, но даже во всей деревне, всё равно отнять не смеешь!»

Зуфер и слушать не стал, как наподдаст! Миргасим рубаху в руках у Зуфера оставил, а сам юркнул в сарай вместе с граблями, заперся на засов. На войне солдаты тоже — когда наступают, а когда и отступить приходится. Но уж если успел в крепости укрыться, то никакие Зуферы не страшны.

А девчонке этой московской, чужой, приезжей, Миргасим отомстит. Узнает она, что войну вести, сражаться он мастер. Не верите? Любого товарища Миргасимова спросите, кто здесь первый боец, и каждый скажет:

«Первый воин у нас в деревне Миргасим, дяди Гарифа сын, бабушки Гюльджамал внук».

«Такого уважаемого человека сын, такой почтенной женщины внук, почему же он бегает простоволосый, без шапки, даже без чеплашки?»

«Да потому, что волосы у него — как бархатная шапочка»,— так мама говорит.

А папа скажет, бывало:

«Ладно, что чеплашку потерял, хорошо, что голова на плечах осталась. Этим тоже не каждый может похвалиться».

Глава вторая

СЕНО ДЛЯ БАТЫРА

Встал с постели отцов сын, бабушкин внук, умылся, поел, снова глянул на соломенную шляпу — до чего же хороша! Поля побурели от непогоды, дно скоробилось, но ни одна соломинка не выскочила, нигде шляпа не прохудилась, совсем ещё крепкая. Отец сам сплёл её, надевал и в жаркий день, и в ненастье. Поднял Миргасим грабли повыше, подцепил шляпу, нахлобучил на голову, положил грабли на плечо и пошёл к речке. Там, у овражка, он вчера травы маленько нарезал бабушкиными ножницами, сегодня с утра граблями поворошит. Трава высохнет за день, и будет сено. Миргасим домой принесёт его, на сеновал поднимет, посолит, а зимой угостит этим сеном коня колхозного Батыра. Грива у Батыра до колен спускается, хвост струится, будто речка, глаза горячие, ноги быстрые, а сам как солнце — гнедой. Настоящий конь-огонь. Смирно даже в стойле не стоит, играет, с ноги на ногу переступает. Этим летом Батыра запрягли первый раз.

Бежал Батыр в упряжке, будто землю копытами от себя отталкивал, будто улететь собрался, только телега и держала его на земле, а как примчался к Миргасимовой избе, встал — и ни с места. Потому что, когда Батыр ещё жеребёнком был, отец Миргасимов встречал его здесь, угощал хлебом с солью. Вот стоит конь и ждёт, не знает он, что отец на войне. Лишнего хлеба, соли ни у кого теперь не стало, а всё же дала

бабушка Миргасиму краюшку, на соль посмотрела, вздохнула и присолила.

Мягкими губами подобрал Батыр угощение с Миргасимовой ладони и дальше полетел-побежал.

То-то обрадуется Батыр зимой, когда Миргасим придёт на конный двор и принесёт охапку душистого, посоленного сена! Вот почему так спешит Миргасим к речке. А всё-таки лучше было бы, если бы он шёл сейчас не с граблями, а с ведром. Бабушка ведро это с дужкой верёвочной на крыльце оставила и совок положила.

Велено Миргасиму лепёшки коровьи, кругляки конские в это ведро совком собрать.

«Хорошо, если бы три-четыре ведра принёс,— сказала вчера вечером бабушка,— это твоя работа».

Да, добро такое собирать — работа мужская. Все одногодки Миргасима ходят с вёдрами, собирают себе и для колхоза.

Вон длинный Темирша работает, в каждой руке — по ведру, еле тащит, а всё же, как увидит лепёшку, поставит вёдра на землю, наклонится и бережно совком подберёт.

В другое время Миргасим крикнул бы:

«Эй, Темирша, оставь и для меня хоть немного!..» Но сегодня он идёт молча, как тень. Молчит, а всё подмечает! И как не заметить коротышку Фарагата — ведро у него будто сахар белое. Для навоза ведра хорошего не пожалел! Балуют этого коротышку и мать, и сёстры, и бабушка, и тётушки. Ещё бы! Он один мужчина в доме остался, остальные все в армии. Ну и ухаживают за ним женщины его дома! Каждая норовит припасти кусочек послаще. За время войны Фарагат растолстел, ходит вперевалочку, пыхтит даже. Прежде босой бегал, а теперь шагает в новеньких галошах.

«Эй, не простудись!» — чуть было не крикнул Фарагату Миргасим, да спохватился, губу прикусил и дальше побежал.

Хорошо, что ни рыжий Абдул-Гани, ни остроносый Фаим-сирота не заметили Миргасима. С этими, пожалуй, пришлось бы подраться, заставили бы навоз собирать... Уж слишком сами они старательные. Мало Фаиму ведра — он корзину на тачку поставил и впрягся, словно добрый конь. У рыжего

Абдула-Гани решето на ремне, точно не навоз собирать вышел, а хлеб сеять.

Далеко от мальчиков убежал Миргасим, уже и снова на тропу выскочил и тут увидал девочек. Они солому рубили, навоз с соломой месили, кирпичики-кизяки лепили.

— Ура! Миргасим помогать пришёл! — крикнула сестра длинного Темирши, длинная Разия.

А Миргасимова сестрёнка Шакире ничего не сказала, только глаза свои широко открыла. Глаза у неё — хуже нет! Чёрные, большущие. Посмотрит она — и хоть плачь: ну никак таким глазам не солжёшь.

— Должно быть, норму свою уже перевыполнил? — усмехнулась рыжая Наиля, сестра Абдула-Гани.

А родная Миргасимова сестра Шакире глаза свои опустила, отвернулась. Уж лучше бы смотрела. Когда и смотреть не хочет, это уж совсем плохо...

«Может, всё-таки вернуться, прихватить ведро и совок? — подумал Миргасим.— Нет, если вернёшься, всё равно пути не будет, беда какая-нибудь случится... Э, ладно, до зимы далеко ещё, лепёшки сию минуту собирать не к спеху, успеется. А вот если траву скошенную не поворошишь вовремя, она сопреет».

И Миргасим ещё быстрее зашагал к реке. Шёл да оглядывался — нет ли где поблизости бабушки? Что, если вздумает проверить, хорошо ли работает внук?

Асия-москвичка вчера всё спрашивала, для чего кизяки, зачем навоз. Миргасим рассказал: высохнут кирпичики, и получится топливо. Ох и жарко горят в печи кизяки эти! Зимой бабушка истопит печь на ночь, и в избе до утра, как в бане, жарко. Но главное, от кизяков золы много остаётся, а зола в хозяйстве дороже золота. Из неё щёлок варят, со щёлоком белье стирать, полы мыть больно хорошо. А ещё золой землю кормят, удобряют. На сытой земле и хлеба́ тучней, и овощи слаще.

«Ах, как интересно! — обрадовалась Асия.— Непременно завтра пойду с девочками кизяки лепить».

Пошла, как же! Не видно её там, где девчонки наши работают. Москвичка! А что, если она вместе с бабушкой Миргасима ищет?

Он ещё прибавил шагу. Не озорничать спешит он, работать. Сено заготовить для Батыра — разве это не работа? Тень Миргасимова тоже быстрее побежала. Бежит и головой вертит, как Миргасим.

— Что вертишься? — спросил её Миргасим.— Бабушки боишься?

Длинная утренняя тень не ответила. Может, не слыхала? Уж больно далеко её голова, рукой не достанешь. А грабли на её плече как столб телеграфный.

— Мои грабельки маленькие, да зато удаленькие,— сказал своей тени Миргасим.— Зубья, гляди, как десять солнц горят, а твои грабли чёрные как ночь. Молчишь? Языка у тебя нет, что ли?

Он показал тени язык и чуть шею не свернул, чуть глаза не вывихнул, подглядывая, что сделает тень. Она, оказывается, в долгу не осталась, тоже язык высунула, да какой!

— Хвалишься? Если голову поверну, язык у меня всё равно останется высунутый. Видишь? А твой теперь где? Проглотила, да? Молчишь? Ну и молчи, а я буду песни петь.

И Миргасим запел:

Выездные наши кони — словно голуби они,
Словно голуби они!
Выездные кони сивы
И, как голуби, красивы.
Вороные наши кони, на корму стоят они,
На корму стоят они!
Наши кони вороные,
Словно ястребы степные,
До морей, до океана наши кони добегут...

Но вдруг он сам себя перебил:

— Не буду петь про вороных да сивых. Спою-ка про милого моего гнедого, про Батыра-коня.

Как огонь моя лошадка,
Цвета красных петухов!
Серебро звенит в уздечке...

Так с песней вышел к берегу, туда, где вчера траву нарезал, расстелил.

Но поворошить не пришлось.

Глава третья

АСИЯ

На скошенной траве сидела Асия. Она плакала, да так горько, что и Миргасима не заметила.

Вот глупая! Вчера вечером в избе народу было полно, охали, вздыхали, слушая письмо её отца, только Асия и слезинки не пролила. Теперь ни души кругом. Для кого же она плачет? С какой стати горевать, если и пожалеть некому? Только младенцы вопят когда вздумается, им всё равно, есть кто рядом или нет. Орут себе в своё удовольствие, на то они и младенцы несмышлёные.

— Плачь, плачь,— сказал Миргасим,— а то речка пересохнет.

— Тебе чего надо? Зачем пришёл?

— Нет, это тебе чего надо, ты зачем здесь? Это моя трава!

— Ну и спрячь её себе в карман.

— Уселась! Для тебя косили, что ли?

— Где хочу, там и сижу, земля не твоя.

— Нет, это наша земля, колхозная. Ты здесь чужая, а не я.

«Ох, для чего слово такое опять сказал — «чужая»? — спохватился Миргасим.— Мало разве за слово это вчера от Зуфера попало?»

Как вспомнил про Зуфера, сразу пониже спины зачесалось. Взглянул на Асию — она как ни в чём не бывало спокойно так говорит:

— Погоди, кончится война, приедешь к нам в Москву, тогда я... я тогда...

— На речку плакать пойдёшь?

— На Москву-реку не пойдёшь,— усмехнулась Асия.— Она перилами чугунными огорожена.

— Так я тебе и поверил!

— И берега камнем выложены.

— А головастики как же? О них ты не подумала?

— Головастики? Ха-ха! Да я их в Москве и не видывала.

Миргасим положил грабельки на землю, засучил штаны, шагнул в речку. Здесь у самого берега, на мягком дне, в прогретой солнцем воде, головастики так и кишели. У них уже выросли лапы, у кого было по две, у некоторых и все четыре. Но хвостов они ещё не сбросили, лягушками не стали.

Черпнул Миргасим шляпой — головастиков туда набилось полным-полно. Всякие — и с двумя, и с четырьмя лапами!

Выскочил на берег:

— Асия, гляди! — и поставил к её ногам шляпу.

Она как закричит!

Старшие ребята, которые в поле картошку окучивали, услыхали, мотыги свои побросали и будто на крыльях к реке полетели: думали, девчонка утонула.

Миргасимов брат Зуфер бежал впереди всех. Миргасим ещё издали увидел его и тут же скатился в овраг, в самую крапиву. Но вот беда — шляпу с собой захватить не догадался.

— Что случилось? — спрашивает Асию Зуфер.

— Ничего особенного,— а сама ногой осторожно подвигает шляпу к овражку.

Миргасиму всё хорошо видно, а его не видит никто. Молодец Асия! Шляпа всё ближе, ближе, осталось Миргасиму только руку протянуть, как вдруг Зуфер обернулся, увидал головастиков.

— Тьфу, гадость какая! — поднял шляпу и зашвырнул в реку.

Миргасим, весь в красных пупырышках, выскочил из крапивы, кинулся к брату:

— Это папина шляпа, папина!

А шляпу несло по реке всё дальше, дальше. Она дрейфовала, черпая то правым, то левым бортом, как тонущий корабль. Несло её, как нарочно, в самую гущу ряски и водорослей, куда и челноку нелегко пробиться.

Зуфер сбросил одежду, плюхнулся в воду и поплыл саженками. А шляпу то ли ветер подгонял, то ли течение влекло мимо коряг, мимо кувшинок к другому берегу. Она



шла между пузырчатыми хлопьями тины и пены, оставляя за собой узкую водяную дорожку. И Зуферу тоже пришлось побарахтаться в этой мути и тине. Постепенно он превращался в русалку — голова в длинных водорослях, тело облеплено ряской, будто зелёной чешуёй.

На берегу реки, повыше, неподалёку от проезжей дороги, перед самой войной были поставлены ремонтные мастерские машинно-тракторной станции. С первых дней войны к этим мастерским зачастили разбитые грузовики, «газики» и даже легковые машины. Всё это были инвалиды. Инвалиды войны. Ремонтные мастерские для них — госпиталь. Военный госпиталь. Слесари, механики — это врачи теперь. Делают они машинам лечение: моют, чинят, красят. Придут машины разбитые, но уходят как новенькие. Машинам это хорошо, а реке худо. Плывут по ней хлопья ваты, обрывки бумаги,

пятна мазута, дёгтя. Всю эту грязь почему-то прибивает к тому берегу, где сейчас дрейфует шляпа. Зуфер уже почти настиг её, но шляпа внезапно сделала крутой поворот и очутилась посреди отливающего перламутром чёрного пятна. Дёготь ли это был, мазут или ещё что, неизвестно, но, когда Зуфер поймал шляпу, надеть её на голову было невозможно. Он выбрался на берег, держа шляпу в руке, положил её на песок, а сам, даже ещё не отплевавшись как следует, ринулся к Миргасиму:

— Я отучу тебя папины вещи трогать! — и хлоп по уху.

— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! — засмеялись Зуферовы дружки.— Штаны надел бы сначала...

Старший мужчина оставил братишку, обтёр липкие чёрные пятна травой, припасённой для Батыра, оделся и молча пошёл в поле, картошку мотыжить.

Друзья, всё ещё посмеиваясь, последовали за ним. Шляпа осталась на песке. Она словно от горя почернела.

— Возьми мой носовой платок, Миргасим,— сказала Асия,— у тебя щека и ухо в мазуте.

— Так мне и надо. За дело досталось: зачем с девчонкой связался?

Она молча опустила платок в карман и пошла.

Миргасим, утирая лицо подолом рубахи, следовал за ней:

— Ладно была бы ещё девчонка своя, деревенская, а эта приезжая...

Асия внезапно обернулась, подняла ладони с растопыренными пальцами — большой палец правой руки приставила к носу, а большой палец левой руки к мизинцу правой, и получился у неё нос не простой, а приставной, длинный-длинный.

Миргасим погрозил граблями:

— Эй, москвичка, знай меру!

— Эй, деревенщина, сам знай! — и побежала от него. Он — за ней. Здорово она бегает, оказывается. Пожалуй, не догонишь.

— Асия-а-а-а, постой! Асия-а-а...

— Ну?! — стоит и смеётся.

Он на неё сурово, грозно посмотрел, граблями замахнул-

ся. Она ни с места, хоть убей её! Но как убьёшь, если смотрит, не отводя глаз? А глаза-то, глаза у неё как блестят! Будто пуговицы новые на праздничной одежде.

— Ну ударь, ударь попробуй! — подзадоривает она.— Не таких, как ты,— настоящих мальчишек я в Москве на обе лопатки клала. Хочешь, покажу?

Миргасим опомниться не успел, как она выхватила из его рук грабли и пустилась наутёк.

— Попадись только! — закричал Миргасим.— Пощады не будет!!

Да, уж если попадётся, то пусть просит, пусть плачет, всё равно Миргасима не разжалобишь.

«Спокойно, Асия, спокойно,— скажет он ей,— я не фашист, чтобы хватать всех без разбора. Я советский генерал, буду судить тебя по совести. Виноватых я казню, правых милую. Во-первых, ты смяла траву, заготовленную для коня-огня, для Батыра. Станет ли есть такое сено? Он переборчивый. Даже в жаркий день воды не глотнёт, если не свежая, если ведро не чистое... Знаешь ли ты, Асия, какой наш Батыр? Он только говорить не умеет, а слово каждое понимает, уши поднимет, шевелит. Слушает. А то шею вытянет, морду на плечо положит, вздохнёт. И ты посмела сидеть на сене, заготовленном для Батыра? Ладно, вина прощается, если одна, так бабушка моя говорит. Но скажи, пожалуйста, зачем ты кричала, когда я тебе головастиков принёс? Они ведь не кусаются! Из-за твоего крика погибла отцова соломенная шляпа. Но за два проступка можно и помиловать, так мама моя говорит. Однако есть за тобой и третья вина — грабли похитила. Знай, несчастная: они волшебные. Увидишь, что теперь с тобой будет».

А что именно будет, Миргасим пока и сам не знает. Не придумал. Но день-то ведь ещё не кончился, правда?

«Цизи-цизи-и! — подхватились с кустов все разом береговые ласточки и затабунились над рекой.— Вид-вид-вид-видвидвид, ви-и-и-дишь?»

— Вижу, вижу,— вздохнул Миргасим,— ласточки в стаи собираются,— значит, лето кончается.

Стрижи спустились к реке, скользят низко-низко. И тре-

пещут в воде такие же птицы, только летают они вверх лапками, сверкая белым брюшком.

А небо синее-синее, и воздух чистый, как стекло.

«Эх, если бы отец и брат Мустафа ласточек увидели, как жмутся птицы друг к дружке, догадались бы — время подходит хлеб убирать. Пора, значит, войну кончать пора...»

Глава четвёртая

ЧЁРНЫЙ КОЗЛИК

Миргасим в семье младший, то есть самый главный. Но Асия в своей семье, в Москве, была главнее — она единственная. А здесь ещё главнее стала — она гость, она одна — без отца, без матери, у дедушки живёт. Ни младшие, ни единственные, ни гости уступать в чём-либо кому-либо не приучены.

Если грабли у неё, значит, именно в эту минуту необходимы они и ему. Прибежал Миргасим домой, взял свой молоток, что брат Мустафа подарил, и отправился на поиски. Он искал встречи с врагом, как чёрный козлик искал встречи с волком. А было это вот как.

«Козлик, козлик, куда путь держишь?» — спросил волк белого козлика.

«Иду травки пощипать, водицы испить».

«Что у тебя на ногах?»

«Копытца».

«А на голове?»

«Рожки».

«Теперь скажи, что сердце твоё говорит?»

«Моё сердце дрожит от страха».

Волк и проглотил белого козлика. Но вот вышел чёрный козлик.

«Что у тебя на ногах?» — спросил волк.

«На моих стальных ногах медные копыта».

«А на голове?»

«На моей золотой голове алмазные рога».

«А сердце твоё что говорит?»

«Моё сердце говорит — вонзи алмазные рога волку в брюхо!»

Испугался волк, хотел бежать, да не успел: вонзил ему козлик рога в брюхо, освободил он своего братца».

Шёл Миргасим, шагал, отважный чёрный козлик, стучал молотком по плетням, по заборам и пел:

Отдай грабли,
Отдай грабли,
Отдай грабли, Асия!

Сам не заметил, как вышел снова к реке и здесь услыхал своей песне ответ:

Ток-ток-ток,
Отдай молоток!

Это пел серый волк. Если бы храбрый козлик молотком не замахнулся, каждый пошёл бы дальше со своей песней своим путём. Но у козлика была привычка замахиваться...

— Ну вот, отняла молоток! Честно это, да? Как теперь я с тобой буду воевать? Безоружный?

— Молчи! Ты убит.

Да, это правильно — он убит. Был бы живой, никогда с оружием своим не расстался бы. Чёрный козлик упал, не на камни, конечно, в траву, но упал как полагается — лёг на спину, раскинув руки.

— Я ухожу,— сказала Асия,— а ты, если не хочешь, чтобы тебя в другой раз убили, лежи тут до вечера. Встанешь — солнце свидетель,— опять убью! Потому что надоел ты мне, приставучка.

Ох, уж и ответил бы он ей, если бы только могли отвечать убитые!

Волк ушёл, козлик остался.

Лежит недвижимый. Нос чешется, но руку поднять нельзя. Скосил глаза — на кончике носа комар. Сидит спокойно и пьёт кровь, а смахнуть как? Рукой невозможно, это точно, а если кончиком языка? Нет, языком не дотянуться, а голова убитая лежит на земле как пришитая. Брюхо у комара

толстое налилось, красное. Напился крови и улетел. А жаль, без комара ещё скучнее стало... Ой, кто это? Не гудит, не шумит, а летит. Голубой-голубой самолёт! Смотри, самолётик, гляди, аэродром — вот он, на ладони. Покружился, покружился и спланировал самолёт на ладонь. Крылья у самолёта прямые, совсем прозрачные, глаза огромные, переливчатые — стрекозой самолёт называется. Но почему вдруг сорвалась с ладони стрекоза? Что углядела своими фарами-глазищами? Ах, вот оно что — мошка! Мошка-крошка, в зелёной одёжке, быстро-быстро перебирая крылышками, летела, спешила, а стрекоза её цап! Ничего не поделаешь — война. Не надо было мухе этой зевать. Вот зазевался Миргасим и теперь убит. До самого вечера. Ох, когда же день кончится, когда наступит вечер?

Солнце над головой — как раскалённая сковорода, река у ног — как лезвие ножа. Поля пшеницы за рекой — белое пламя. Колосья, подобно белым огненным языкам, то клонятся к земле, то лижут край неба. Эх, в такой день самое время кирпичи кизячные сушить!

Нарубит соломы сестрёнка Шакире, заглянет в ведро с верёвочной дужкой:

«Почему оно пустое?»

А бабушка ещё больше удивится:

«Такой шустрый мальчик наш Миргасим, такой помощник старательный, ловкий, куда он делся?»

«Должно быть, с ребятами по улице мяч гоняет».

«Что ты говоришь, Шакире! Если бы здоров был, мою просьбу уважил бы. Уж не заболел ли?»

Шакире засмеётся и побежит к подружкам. Рада, должно быть, что кирпичики лепить не надо. А бабушка повздыхает, погорюет... Ничего не поделаешь! Придётся самой теперь потрудиться. Возьмёт ведро, совок, пойдёт навоз собирать, выйдет к реке и увидит бойца убитого. Ну и попадёт, ну и влетит ему!

«Сейчас же встань, Миргасим! Людей постыдился бы, все товарищи твои навоз собирают, один ты лежишь загораешь. Эх, Миргасим, Миргаси-и-им!..»

Он давно встал бы, если бы не уговор: убит до вечера. Но когда бабушка приказывает, что тут поделаешь? Ослу-

шаться бабушку никак нельзя — грех. Вскочит Миргасим и, стуча совком по ведру, помчится мимо колхозного сада, мимо дома Абдракипа-бабая, пусть видит Асия — он исполняет бабушкин приказ, совком работает.

Хоть бы скорее бабушка пришла, позвала бы его... По всему телу мурашки бегают, в ушах словно шмели гудят. Неужто в самом деле так и будет чёрный козлик лежать весь день до вечера?

Песенку от скуки засвистать, что ли? Только начал, и вдруг... Зуб выскочил вдруг! Уже давно шатался, болтался, на тоненькой полосочке держался, да страшно было оторвать. А теперь пожалуйста — вот он, в руке! И второй, рядом, тоже шатается, но этот, должно быть, постоит ещё. Как сделать, чтобы новый зуб вырос крепче старого? Бабушка знает слова такие сильные, пошепчешь, и зуб вырастет острый, длинный, как у крысы. Хорошо бы этак было, у крысы зубы острые, что хочешь перегрызут. Миргасим слов тех сильных не знает.

— Бабушка,— чуть не плачет воин убитый,— бабушка...

— Миргаси-и-им! — вдруг услыхал он далёкий голос.— Миргаси-и-им!..

Кричат? Зовут? Или это только кажется?

— Бабушка, бабушка-а!..— зовёт Миргасим.— Пить хочу, бабушка...

— Миргасим! — послышалось совсем близко.— Миргаси-и-им!..

Испугался даже, вскочил: кто это? Оказывается, ребята! Вздымая пыль, бежит по тропе впереди всех рыжий Абдул-Гани, за ним Фаим-сирота, длинный Темирша и коротышка Фарагат.

— Миргаси-и-им, Батыра в армию берут!

Глава пятая

ПРОВОДЫ

Обгоняя ребят, бежит Миргасим на конный двор.

— Ещё двух лошадей взяли — Карлугачку и Сандугача.

Ах, какое дело ему до других! Но Батыр, отцов любимец, конь-огонь, красавец Батыр...

Миргасим прижался к ограде. Во дворе стояли две рабочие лошади: вороная кобылка с белой звёздочкой на лбу — Карлугач-Ласточка и светлый соловый конёк — крепыш Сандугач-Соловушко.

Ремёнными поводьями они были привязаны к задку телеги, на которой лежала охапка только что скошенного овса. Лошади, отгоняя хвостом слепней, ели овёс, ещё зелёный, смешанный с викой. Не часто перепадало им такое угощение!

— Эх, ох! Зачем овёс переводить? — скрипел Саран-абзей[1], старик в высокой бархатной шапке, дядя Фаимасироты.— Лошади теперь уже не наши. Для чего ремённую сбрую отдавать? Ладно будет и верёвочной узды. Там, в армии, амуницию коням дадут. Что положено, то и получат. А нам своё добро не стоит транжирить. Откуда новое возьмём? Война...

— Коней даём — уздечку жалеем? — возразил дедушка Асии Абдракип-бабай.— Стыдись!

Вот распахнулись двери конюшни, и все увидели Батыра — каждая жилка его дрожит, глазами горячими он косит, сердится. Грива заплетена в косы, косы повиты алыми лентами, и весь он лоснится — настоящее золото, рыжее золото. Вышел во двор, поднялся на дыбы, опустился и побежал к воротам, волоча за собой двух парней, повисших на поводу.

Как он легко бежал! Касались ли земли его копыта?

Люди шарахнулись врассыпную, но тут появился перед конём Абдракип-бабай. Он поднял вверх тонкую, как сухой осенний лист, руку, ухватился за узду, другую положил на морду коня.

— Не балуй, не балуй! — похлопал по шее, погладил.— Э-э, Батыр, славный ты наш конь, чего испугался? Самое страшное, сынок, предстоит тебе впереди.

---

[1] Абзе́й — дядя. Сара́н-абзей — дядя Саран.



То похлопывая, то поглаживая, приговаривая ласково, надел старик коню хомут на холку. Потом неспешно, покойно повёл притихшего Батыра к телеге, поставил его между оглобель, затянул на хомуте супонь, пристегнул ремёнными гужами хомут к оглоблям, поднял дугу, подтянул шлею.

Батыр и не заметил, как очутился в упряжке.

Два паренька, которые не могли с ним, незапряжённым, справиться, теперь вскочили на телегу, один из них подхватил, натянул вожжи, и покатили все четыре колеса по пыльной дороге. Легко, красиво, широким шагом бежал Батыр. Қарлугач — чёрная Ласточка и соловый Сандугач покорно трусили на поводьях позади телеги. Эти лошади уже второй год работали, и не было у них того задора, что у Батыра. На них Миргасим и не глядел, они уже взрослые. Но Батыра жаль, он к хомуту ещё как следует не привык. Берегли его. «Молодой ещё»,— говорили.

Сквозь слёзы Миргасим не успел сосчитать, во сколько косиц заплетена у Батыра грива, и теперь не знал, счастливое было число или несчастливое.

«Зуфера в армию не взяли — молодой, а Батыр старый,

что ли? Брат — работник незаменимый, говорят, а Батыр заменимый, да?»

— Ишь ты, лошадник какой! — сказал старик Саранабзей.— Отца, брата Мустафу провожал — не плакал, а теперь, глядите, в слёзы!

— Глупый он был тогда,— отозвался Абдракип-бабай,— теперь поумнел, понимает — война не свадьба.

— Эх,— вздохнула одна из женщин,— как тут не плакать! Заплачешь! Лучших лошадей мы отдали...

— Нет, ты худших дай, чтобы на каждом шагу спотыкались! Или муж твой не на фронте? Подумай сначала, потом говори!

На земле за воротами увидал Миргасим обрывок красной ленты, той, должно быть, что была вплетена в длинную гриву Батыра. Поднял этот лоскуток, погладил ладонью, спрятал за пазуху, на память.

— Не тужи, Миргасим,— сказал Абдракип-бабай,— потерпи немного. Прогоним врагов, кончим войну, и вернётся к нам наш Батыр, да не один, а с такой же, как он, гнедой кобылкой. И жеребята от них пойдут светлые, как золото, и поведётся в нашей местности новая порода — батыровская. Золотые табуны по степи будут гулять. На весь Советский Союз деревня наша прославится. «Как огонь мои лошадки, цвета красных петухов». Так в песне поётся? «Серебром горит уздечка...»

Пока старик утешал Миргасима, сам Батыр и две другие лошадки далеко унеслись. Облака пыли клубились за телегой, поднимались к небу, оседали на придорожных кустах. Листва от пыли поседела.

Женщины и ребята постарше поспешили каждый на свою работу. Остались у конного двора лишь те, кого до войны звали мелюзгой, а теперь величали помощничками.

Глава шестая

ЗОЛОТОЙ ТАБУН

Почему же сидят у забора, у конного двора помощнички, работнички? Потому что устали они сегодня. Всё утро навоз собирали.

— Миргасим, знаешь, кто больше всех притащил?

— Знаю: Темирша!

— Как ты угадал?

— Угадать нетрудно: от него за версту разит.

— А-а, с-сам т-ты хоть од-дно в-вед-дро п-прин-нёс? — рассердился Темирша.

И только теперь опомнился Миргасим. Солнце уже на западную половину неба перевалило. Тени, что в полдень, словно спасаясь от палящих лучей, свернулись, теперь снова вышли из-под навесов, из-под крыш, легли на стены, заструились под ногами, побежали по дороге.

— Пойду домой за ведром,— сказал Миргасим,— утром другая работа у меня была. Ну ничего, до ночи успею...

— И м-мы с т-тобой,— сказал Темирша,— м-мы т-тебе п-поможем.

— Айда, поскакали! — подхватил рыжий Абдул-Гани.— Кто меня обгонит? Я Батыр!

— Почему ты?

— Он гнедой, и я гнедой! — Поднял голову, заржал, и весь табун помчался за Батыром, вдавливая пятки в придорожную пыль.

Пыль была горячая, мягкая и белая, как пшеничная мука.

Фаим трусил лёгкой, подпрыгивающей рысцой, Фарагат весело скакал. Миргасим взбрыкивал ногами и тонким голосом кричал:

— И-и-и!..— Он был ещё стригунок-жеребёнок и не мог никак сказать по-взрослому «И-го-го!».

Только Темирша, который сегодня поработал на совесть, плёлся усталой, заплетающейся походкой.

— Эй, почему копытами не стучишь, галопом не скачешь, рысью не бежишь?

— Н-ноги, у м-меня слиш-шком длин-ные, н-не слушшаются...

— Ладно, иди шагом, ты будешь старая лошадь, а я твой сынок. И-и-и-и! Почему не отвечаешь? Отвечай жеребёнку, отвечай! Да поласковее...

Темирша мотнул головой, оттопырил нижнюю губу, лягнул Миргасима, но шагу не прибавил.

— Мы золотой табун, мы батыровой породы, смеёшься ты, что ли? Беги рысью, тебе говорят!

— Т-таб-бун, т-таб-бун... А т-таб-бунщик кто? Я! Захочу в-верхом сяд-ду, з-зах-хочу п-плет-тью огрею. От-твяжись!

Вот прискакал золотой табун на околицу, к Миргасимовой избе. Ведро с верёвочной дужкой всё ещё стояло на пороге.

— В-влет-тит теб-бе,— заметил табунщик,— б-бери в-ведро, и б-беж-жим в степь навоз собирать. Н-но, поех-хали-и, пока дома тебя не увидели.

— Дома-то, может, и нет никого,— сказал Миргасим.

Он вскарабкался на завалинку, заглянул в окно.

Дома и правда никого не было. На столе лежал ломоть хлеба, несколько варёных картофелин, яйцо и стояла чашка с кислым молоком — катыком.

Фаим-сирота успел взобраться на плечи к длинному Темирше да так и прилип носом к оконному стеклу:

— Твоя семья, Миргасим, уже пообедала, однако и тебя они не забыли: хлеб, картошка, катык...

— Айда ко мне! — позвал Миргасим.— Всем еды хватит.

— В мирное время пошли бы,— вздохнул Фаим, спрыгнув на землю,— а теперь нельзя, на счету каждая ложка, каждая крошка.

— Это у твоего дяди Сарана так, у нас по-другому. Пошли.

Он распахнул дверь:

— Чего встали? Давайте ешьте, ешьте!

Ребята наши деревенские — народ деликатный. Разломили на четверых две картофелины и, посыпав солью, откусывали помаленьку, медленно жевали, глотать не торопились. Миргасим зато очень спешил, всех товарищей он обогнал. Только приступив к катыку, спохватился:

— Кто хочет? Тут на дне ещё осталось.

— Спасибо, мы дома ели,— сказал Фаим-сирота, которому его дядя Саран-абзей обычно варил на обед прошло-

годнюю свёклу, а кладя варево в чашку, поучал: «Кто не умерен в еде, тому быть в беде».

— Бабушка катык вкусный делает,— угощал Миргасим, поставив на стол наполовину пустую чашку,— кому дать?

Фаим протянул руку, допил, а потом и чашку дочиста корочкой хлеба вытер. И хлеб этот съел.

— Рахмат, спасибо,— сказал он.

— Рахмат,— подхватили и другие гости.

— Ещё приходите,— вежливо отозвался хозяин, хотел было прибавить: «Сто лет живите», да взглянул случайно на стену, туда, где два гвоздя вбиты, и замолчал.

На стене висела на том же гвозде, что утром, отцова шляпа. Чистая, золотистая, как новая. Где она умылась, как сюда прикатилась? А рядом, на втором гвозде, белой панамки нет. Но висят на том гвозде белая, вырезанная из бумаги грабелька и такой же бумажный молоточек.

И глупому стало бы ясно, кто шляпу отмыл, кто дразнилку на гвоздь повесил.

Миргасим вскочил на скамью, сорвал, скомкал и бросил на пол бумажные игрушки. Снял с гвоздя шляпу, нахлобучил её себе на голову, по самые глаза, и воскликнул:

— Девчонка взяла мои грабли, взяла молоток. И ещё шляпу в керосине искупала. Не верите? Понюхайте. Запах, как у трактора. Хватит! Объявляю войну.

— Если не решился — думай,— сказал Фаим,— а решил — действуй. Пошли!

На крыльце всё ещё стояло пустое ведро с верёвочной дужкой. Темирша подхватил его, повесил себе на шею, взял он и совок.

— Зачем тебе это хозяйство? — спросил Миргасим.

— А-а к-кизяк-ки?

— Сейчас собирать, что ли? Мы идём в поход.

— И-и-о-го-го-го! — заржали кони.— Не сдавайся, Миргасим, держись, Миргасим, крепись, Миргасим! Не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся никогда!

Впереди табуна шагал табунщик и стучал совком по ведру.

Тра-та-та, та!
Тра-та-та, та!

— Крепись, Миргасим, держись, Миргасим,— хором повторял табун.— Не сдавайся, Миргасим, не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся никог...— и осеклись, сломали песенку.

Потому что вдали сверкнула под лучами солнца белая панамка, белая, как серебро.

Асия ходила с граблями по берегу, ворошила траву, ту самую, что Миргасим для Батыра нарезал.

Услыхав гром ведра-барабана, звон военной песни, Асия подняла голову, выпрямилась:

— Пришёл? Почему только один табун привёл? Я хочу сразиться с тысячью табунов. Эй, кого убить, кого ранить?

Доблестный табунщик отшвырнул совок, бросил ведро и побежал. Весь табун за ним.

— Держись, Миргасим, крепись, Миргасим! — кричали кони на бегу.

Да, он крепился, держался, не сдавался. Он уже был сегодня убитый. Что может быть страшнее?

Они стояли друг против друга, он и Асия. Они стояли отважно, как два воробья, как два льва, как два петуха. Глядят один другому в глаза не моргая. Моргнёшь — и не увидишь, кто кого победил.

Глава седьмая

ОДНА ДЕВОЧКА И ШЕСТЕРО МАЛЬЧИКОВ

Говорят, в прежние времена, если между врагами встанет девушка, взмахнёт платком,— бой прекращался.

А тут между ними что встало? Чей послышался жалобный плач?

— Кто это? — спросила Асия.

— Щенок скулит, не понимаешь, что ли? Смотри!

Он выполз из оврага, этот плачущий щенок. Спина у него чёрная, брюхо серое, хвост снизу тоже серый, сверху чёрный и лапы чёрные с серым. Словно был он в серой рубахе, в чёрной шубе. Язык висел изо рта чуть ли не до земли, из глаз медленно скатывались слёзы.

— Это не наш,— сказал Миргасим,— я здешних собак знаю, он, как ты, приезжий.

— Ему пить хочется.

Миргасим принёс щенку воды в ладонях, потом сообразил, зачерпнул ведром. Но щенок пил только из рук. Ведро пугало его. Напился и начал зевать. Миргасим снял с головы шляпу, выложил дно чуть подсохшей травой, поставил на землю дном книзу и посадил туда щенка. Щенок позевал ещё немного, свернулся в шляпе калачиком и уснул.

Асия сидела рядом, отгоняла мух.

— Больной, должно быть,— сказал Миргасим,— одно ухо стоит, другое повисло. Надо его керосином смазать.

Вдруг чья-то тень упала на спящего щенка.

Миргасим поднял голову и увидал Зуфера. Из-за широкой Зуферовой спины выглядывали кони — Абдул-Гани, Фаим, Фарагат. Темирша-табунщик стоял поодаль, сбивал хворостиной сухие метёлки с пожелтевшей травы.

— Подойди поближе, не робей,— обернулся к нему Зуфер.— Ты не знаешь, кто кричал: «Миргасима бью-у-ут, ре-е-ежут, уби-ива-а-ют!»

Кони фыркнули, но табунщик всё так же молча и старательно работал хворостиной.

— Понятно! — засмеялась Асия.— Было их против меня одной всего только пятеро, вот теперь и шестого притащили. Что же, Зуфер-агай[1], выходи! Давай посмотрим, кто кого. Ну! Не напрасно ведь тебя сюда позвали.

— Я никого не звал! — вспыхнул Миргасим, размахнулся и чуть было не ударил Асию.

Но Зуфер схватил его за руку:

— Опять утащил папину шляпу?!

— Знал бы, где своя, не брал бы чужую.

Глаза Зуфера, казалось, сейчас выскочат, так он разгневался:

— Лягушки, собаки! И чтобы отец надел эту шляпу? Никогда!

Вытряхнул щенка, достал из кармана спички, чиркнул... И соломенная шляпа вспыхнула прежде, чем Зуфер опомнился.

[1] Ага́й — старший брат (почтительное обращение).

Кони, увидав, как взметнулось пламя, пустились наутёк. Табунщик огромными шагами удирал впереди всех.

Миргасим кинулся гасить огонь. Где там! Шляпы будто и вовсе не было на свете, остался от неё лишь холмик серого пепла, по которому бегали-мигали красные искорки.

Слёзы обожгли глаза Миргасима. Зуфер молчал, опустив голову. Была папина шляпа — и нет её.

Щенок вилял хвостом, тычась мордой в Миргасимовы босые ноги.

Асия, не глядя на братьев, старательно затаптывала искры.

— Шляпа сгорела, подумаешь! — приговаривала она.— В Москве дом наш, может, сгорел, бомбят ведь. Стану я горевать по дому? Как же! «Были бы люди живы» — так бабушка ваша моего деда уговаривала. Шляпа, вот ещё... А Москва, Москва...

Голос её дрогнул, она замолчала.

— Да, Москва,— произнёс Зуфер.— Москва — это главное. Но поверь, туда не допустят. Твой отец, мой... Отцы, братья... Они Москву...

Асия низко сдвинула на лоб свою панамку, тень закрыла глаза, половину лица. Видны были только губы да подбородок, бледный, не загорелый.

— Да свидана,— старательно выговаривая слова, сказал по-русски Зуфер и, следуя русскому обычаю, пожал Асие руку,— я пошёл.

Но, уходя, он всё-таки успел шепнуть Миргасиму:

— С тобой мы ещё побеседуем.

Куда он направился? На свою работу или на ферму, к маме? Сколько раз грозился Зуфер с мамой поговорить, да всё откладывал — «огорчать жалко». Может, и теперь он маму пожалеет? Эх, если бы Миргасим не трогал папину шляпу... А вдруг мама простит? Нет, такое дело простить нельзя.

Вот беда, хоть плачь! Но взглянул на Асию, и слёз как не бывало.

— Чему радуешься?

Она молча улыбалась, потирая руку, которую Зуфер пожал от всего сердца, по-русски.

— Чего смеёшься?

— Удивительный человек твой брат Зуфер. Сильный, умный.

— Если бы он умный был, ни за что папину шляпу не поджёг бы. Сначала чуть не утопил, потом спалил. Были бы у меня в кармане спички, никому не показал бы. Где спички, там и курево.

— Он курит?

Миргасим спохватился, замолчал.

Щенок, поскулив, улёгся на тёплый пепел. Много ли тепла от сгоревшей соломенной шляпы? А ему и того довольно. Живот согрелся, и ладно.

Миргасим погладил щенка, призадумался.

«Это Зуфер-то удивительный человек? Ха-ха! Очень даже удивительный. Когда мама заметила, что пальцы его — большой и указательный — рыжие от табака, Зуфер возразил: «Что ты, мама, откуда у меня папиросы?» Впрочем, папирос и правда у него нет. Миргасим проверял. А махорка? О махорке не спросили — и не сознался. Но ему бабушка всё спускает. «Оставь его, Бике,— говорит она маме,— работает Зуфер за взрослого, даже за двоих. Намается за день...»

Работает, подумаешь! Все школьники работают — война. Вот пойдёт Миргасим этой осенью в школу и, если война не кончится, тоже будет работать. А курить не станет — пробовал уже. После той пробы всего чуть наизнанку не вывернуло. Слюни текли, тошнило. Тьфу! Вспомнить противно. Видно, весь в отца он пошёл, отец тоже не курит.

— Эй, Асия, что будем со щенком делать? Накормить его надо.

— Возьму к себе.

— Нет! Не дам. Я первый его по голосу узнал. Возьму себе.

— Пожалуйста! Если твой брат Зуфер тебе это позволит.

— Бабушка в доме хозяин, а не Зуфер.

— Ну пойди у бабушки спроси.

— Смеёшься?

— Нет, горько плачу. Пёсик, пёсик, проснись, пойдём со мной.

— Не дойти ему, не дойдёт он. А на руках понесёшь — блох потом не оберёшься.

Она сгребла траву, положила в ведро, покрыла носовым платком и бережно опустила щенка на эту травяную подушку. Не напрасно, значит, вчера Миргасим потрудился, траву нарезал. И Зуферу было чем мазут с боков обтереть, и щенку есть на чём понежиться. Только Батыру ничего не достанется. Чем его там, на войне, кормить будут? Кто краюшкой присоленной угостит?

Асия одной рукой подхватила грабли, другой взялась за верёвочную дужку ведра.

— Салям, Миргасим, до скорой встречи.

— Эй, отдай грабли! Отдай ведро!!

— Ни за что. И не вздумай драться. Это будет нечестно, сам видишь: руки у меня заняты, не могу дать сдачи. Всего, всего тебе хорошего, счастливо оставаться! Пока.

Сказала и пошла так спокойно, не спеша, не оборачиваясь.

Тут, кстати, попал Миргасиму под ноги совок. Миргасим взял да и швырнул ей вдогонку.

— Ура! — засмеялась она.— Как это я совок оставила? — и подобрала, не постыдилась.

И руки оказались незанятыми. Это честно?

Глава восьмая

КТО ПОБЕДИЛ?

Ну и денёк выдался!.. Навоза не собрал, молоток и грабли отняли, ведро и совок сам отдал. Шляпа отцова сначала в реке побывала, потом в огне сгорела. Щенка и того не смог отвоевать.

И всё-таки не победила Асия Миргасима, нет! Она его перехитрила. Это не называется победа, это обман. Золотой табун тоже хорош — товарища своего в беде оставили!.. Нет, не оставили они, оказывается! Бегут сюда с палками, с прутьями, у Темирши даже серп. Воевать собрались по-настоящему.

— Она убежала,— сказал Миргасим,— мы победили!

— Т-тогда я р-репейника с-серпом д-для козы нарежу,— решил работяга Темирша.

— А мне дядя Саран приказал грядки полоть,— вздохнул Фаим.

— Мама беляши печёт,— признался Фарагат.

Только Абдул-Гани остался на берегу.

— Напрасно ты с ней войну начал,— сказал он Миргасиму.— Видал бы ты, как она пляшет, ни за что не воевал бы.

— А ты видал?

— Она твою сестру Шакире, мою Наилю и ещё длинную Разию по-московски танцевать учит... А брат твой Зуфер на гармони танцы московские для неё играет.

— То-то он и прибежал сюда.

— А как же! Я как сказал — Асия, он дальше и слушать не стал, сразу помчался.

— Значит, и ты за неё?

— А то как же!

— А сам кричал: «Крепись, Миргасим, держись, Миргасим, не сдавайся никогда!»

— А как же? Все кричали, и я кричал.

— А если кто будет мычать, и ты, значит, тоже?

— Эх, пошли лучше лепёшки коровьи собирать, ведро твоё где?

— А тебе-то что?

— Мне-то ничего, а вот тебе...

— Что мне? — Миргасим встал и побрёл неведомо куда.

Абдул-Гани за ним не последовал. Он обиделся.

Домой Миргасим приплёлся поздно вечером. Все поужинали и теперь сидели на скамье у крыльца, отдыхали. Асия, конечно, тоже здесь. Если бы знал Миргасим, что она тут, ещё погулял бы. Но теперь уж никуда не денешься: бабушка встала, идёт навстречу. Неужто будет бранить? При Асие? Чем он виноват, что она ведро утащила...

Подошла бабушка к Миргасиму, опустила руку ему на плечо.

— Спасибо, внук, хорошо ты сегодня постарался. Сколько вёдер принёс! Молодец!

— Но как ты догадалась, бабушка, что это я принёс?

— Угадать было нетрудно: у ведра твои грабли стоят.

Асия глянула на Миргасима, показала исподтишка язык, потом спросила бабушку:

— А молоток? Молотка вы не заметили?

— Я убрал его,— сказал Зуфер,— он в ящике с инструментами.

Миргасим побежал в избу, вытащил ящик из-под кровати. Да, молоток на месте. Взял его, повертел, ну, и вскинулась рука вверх. Раздвоенный конец молотка подцепил гвоздь, тот, на котором большая сковорода висела... Такой грохот раздался, будто бомба разорвалась! Сковородка стукнулась об пол и покатилась к порогу, а бабушка как раз входила в комнату.

— Вот хорошо, что сковорода остановилась,— сказал Миргасим,— а то, бабушка, быть бы тебе без ног.

— Зачем гвоздь вытащил?

— Сейчас вобью.

Но не вбил — такой большой гвоздь не часто случается найти! Миргасим опустил его в карман.

— Бабушка, может быть, лучше пусть Зуфер сковородку на полку поставит? Повыше, чтобы я не достал!

— Иди ешь! — сердитым голосом отозвалась бабушка и брови сдвинула, уж очень хотелось ей засмеяться.— В другой раз опоздаешь — без ужина останешься. Надо приходить вовремя.

Когда она ушла, заглянула в комнату Асия.

— Кто победил? — спросила она Миргасима и, не дожидаясь ответа, прибавила: — Видал, сколько я навозу собрала для вашей печки? То-то же! Знай нас, москвичей, деревенщина!

Глава девятая

КОЖАНЫЕ БАШМАКИ

Опять кричат воробьи, стучат клювом по оконному стеклу, светит солнце, сверкают зубья грабелки — всё как вчера, даже соломенная шляпа снова висит на гвозде. Но, быть может, это Миргасиму сон такой снится? Ведь вчерашний день не возвращается.

Смотрит Миргасим на шляпу, глаз отвести не может.

— Чего смотришь? — поинтересовался Зуфер. — Если нравится, примерь. Хочешь?

«Хотеть-то хочу,— подумал Миргасим,— но тебе ни за что не скажу».

Короткий, обсыпанный веснушками нос высунулся из-под одеяла, ноги скользнули в штаны. Чёрные быстрые глаза Миргасима следят за каждым движением брата. Вот Миргасим уже подбежал к двери, ещё шаг — и он выскочит на крыльцо. Но Зуфер схватил его за плечи, повернул лицом к себе:

— Гулять? Почему без шляпы?

— Какая шляпа, что пристал? Умереть мне на этом месте, если на неё хоть одним глазом поглядел! Хлебом насущным клянусь...

— Довольно, хватит врать. Говорят — бери! Чего пятишься? Это я тебе сплёл. Бери насовсем. Хочешь — собак в ней разводи, хочешь — лягушек выращивай.

Но Миргасим не так прост, его не проведёшь.

«Зачем смеётся? Уж лучше бы наподдал»,— думает он, пытаясь вырваться из крепких рук брата.

— Куда спешишь, мой внук? — появляется в дверях бабушка.

На всякий случай Миргасим дёргает носом. Хотите — он сейчас заплачет, хотите — засмеётся, смотря по обстоятельствам.

— Знаешь, бабушка,— говорит Зуфер,— этот человечек совсем забыл, какой у нас сегодня день.

— Ах! — Сердце Миргасима застучало часто-часто.— Какой сегодня день? День моего рождения, вот какой!

— До чего догадлив!

Снял Зуфер с гвоздя шляпу, надел Миргасиму:

— Погляди, бабушка, какой он сегодня большой! Сразу видно — семь лет исполнилось.

Миргасим краснеет так густо, что и веснушек не видно.

«Асия правильно сказала,— думает он,— удивительный человек мой брат Зуфер, никак не поймёшь его...»

— Я пошёл в поле,— говорит Зуфер.— И ты, Миргасим,

приходи. Ребята обещали после комбайна колоски подобрать. Придёшь?

Лицо Миргасима скрылось под полями шляпы.

— Должно быть, приду,— вздыхает он,— только поем сначала. И немножко погуляю... Совсем-совсем немного!

Ласково взяла бабушка Миргасима за руку, подвела его к широкой сэке[1]. Тут на горке разноцветных подушек белел холщовый фартук, точно такой, как у брата Зуфера, только поменьше.

— Это тебе мама сшила,— сказала бабушка.— А это вот сестрёнка Шакире связала.— И бабушка протянула Миргасиму красные шерстяные носки.

Пока Миргасим любовался подарками, бабушка подошла к своему зелёному сундуку, подняла обитую медными полосами крышку.

С внутренней стороны крышка обклеена картинками: пароходы, корабли, лодки, баржи.

Бабушка родилась на Волге, и до сих пор она всё скучает по широкой, большой воде. Где увидит картинку с кораблём, обязательно спрячет, положит в сундук или приклеит к крышке. Пока Миргасим рассматривал корабли, бабушка вытащила из сундука шубу покойного дедушки, валенки, жилетку, потом свой старинный бархатный казакин и маленькую круглую, шитую серебром бархатную шапочку-калфак... Но вот лукаво улыбнулась, подержала в руке небольшой свёрток и снова спрятала его поглубже.

— Бабушка, почему прячешь? Что там, в узле?

— Пелёнки, дружок мой, твои пелёнки.

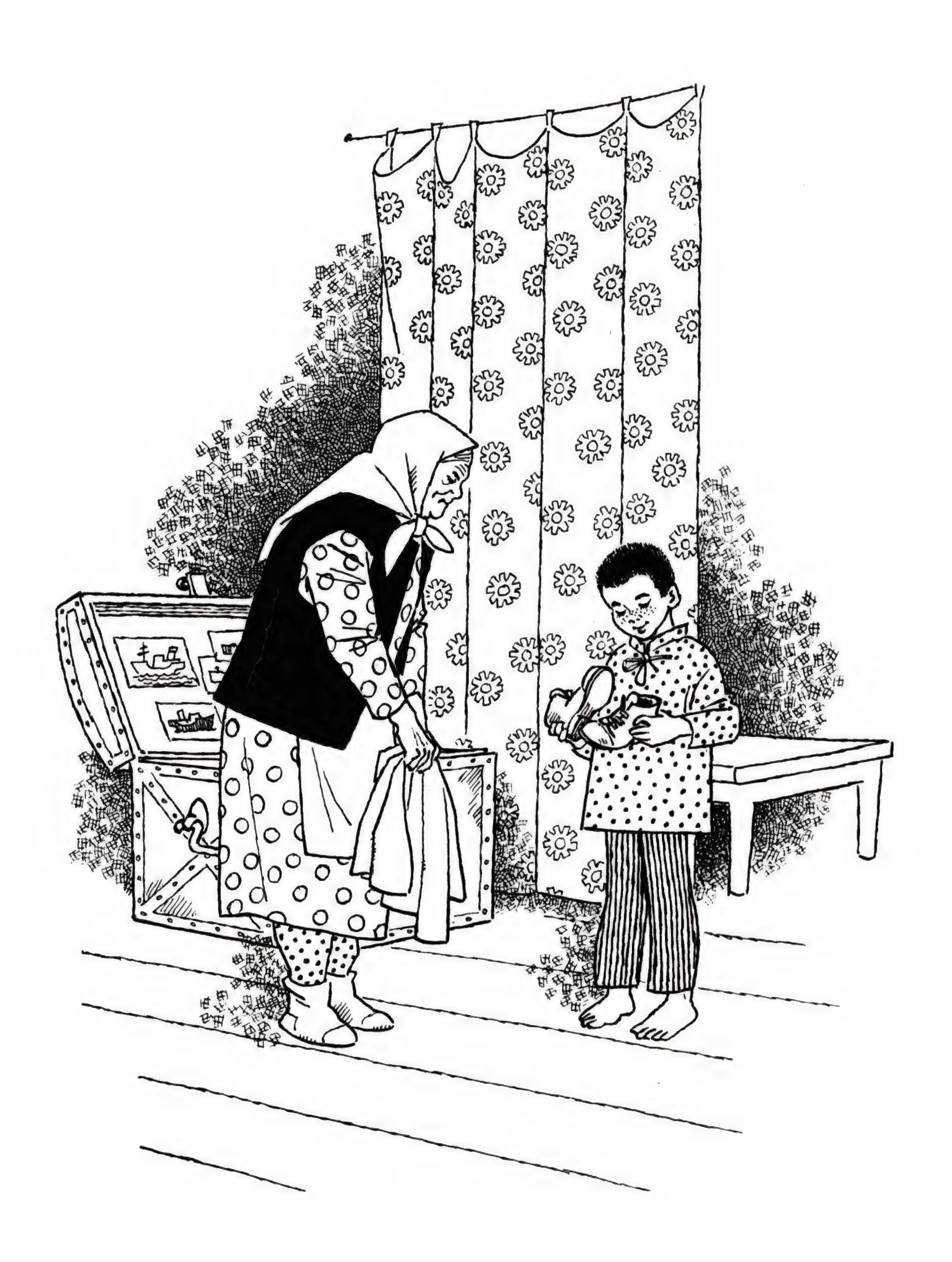
— Зачем тебе старые пелёнки?

— Старые, стираные да в щёлоке кипячённые помягче новых.

— Но тебе-то они на что?

— Берегу для детей твоих, Миргасим. Когда вырастешь, женишься, меня, может, здесь уже и не будет. А пойдут детки, возьмёте эти пелёнки и бабушку вспомните... Льняные они, сама пряла, мягкие...

[1] Сэкé — широкая деревянная лежанка.



— Почему тебя не будет? Куда пойдёшь? Плохо тебе с нами жить, что ли?

Ничего не ответила бабушка, только вздохнула. Потом улыбнулась и достала с самого дна сундука кожаные жёлтые башмаки, дохнула на них, обмахнула концом своего белого фартука и вдруг поставила к босым, загорелым ногам внука:

— Носи на здоровье.

У Миргасима никогда в жизни не было башмаков. Летом он ходил босой, как все ребята, осенью — в шерстяных носках с галошами, зимой носил валенки. Но башмаки!..

Он поднял башмаки, прижал их к щеке, понюхал.

— Как хорошо пахнет! Будто они дёгтем смазаны, как колёса у телеги, верно, бабушка?

— Ошибаешься, дитя моё, они смазаны ваксой. Запах и правда хороший, мне тоже нравится. Береги эти башмаки. Шил их твой дедушка. Был он лучший сапожник в нашей деревне, а может, и в целом свете. Даже из города Казани приезжали к нему господа большие, просили сапоги пошить. И вот случилось однажды, и самого в Казань повезли: начальниковой дочке кривые ноги сапогами выправить. И что ты думаешь? Сделал ведь! Голенища цветами-птицами выстрочил, подошва на подушечках, мягкая — залюбуешься. Там, в городе, и познакомились мы. Твой дедушка тогда молодой был. Как хорошо он пел... Бывало, подойдёт к моему окну и затянет протяжно жалобную песню. А я спрячусь за занавеску, стою молчу, в окно и не выгляну. Но дедушка твой был человек упорный. Оборвёт протяжную песню, заведёт насмешливую, да такую, что сил не станет молчать и поневоле ответишь на песню песней. Вот один старик седой, купец богатый, услыхал и послал родителям моим подарки — серебряный самовар, красный ковёр. Было у этого старика три жены — захотел четвёртую. Сказали моему отцу: «Будет дочь твоя есть сахар и мёд, ходить в шёлковом платье, носить красные сапожки». Старик много денег за меня давал. Кто в старое время девушку спрашивал: «Хочешь — не хочешь?», продавали, как овцу. Если бы не твой дедушка, пропала бы я совсем. Ночью пришёл он к моему окну, просит: «Спой мне, о чём думаешь... Спой в последний раз». И вот я запела...

Бабушка оперлась щекой о ладонь, задумалась.

— Милая бабушка, пожалуйста, спой мне эту песню в день моего рождения.

— Песня, дружок, старинная, протяжная, теперь так не поют. Скучно тебе будет слушать, дитя моё.

— Мне никогда с тобой не скучно, бабушка!

Старушка сидела на полу, на коврике. Руки её опустились, она прислонилась спиной к сундуку, закрыла глаза и запела:

Люди вышли в поле, Кюрмес, небо побелело,
Прощай, Кюрмес, прощай!
Овцы кричат в хлеву, Кюрмес, луна побледнела,
Пора, Кюрмес, пора!
Жаворонки звенят, Кюрмес, заря алеет,
Уходи, Кюрмес, уходи!
Родители мои проснулись, солнце встаёт,
Беги, Кюрмес, беги...

Так пела я, Миргасим, и плакала, но не видал он моих слёз, я стояла за ситцевой занавеской. Он ответил песней:

Люди вышли в поле, Слу?
Пусть мгла поглотит их.
Кричат овцы в хлеву, Слу?
Пусть волки сожрут их.
Жаворонки утро зовут, Слу?
Пусть ястреб разорвёт их.
Родители твои встали, Слу?
Бежим вдвоём, бежим!

Ах, внук мой, внук мой! Слыхал, какая песня? Не посмела песне этой перечить, вылезла в окно и убежала с ним, с твоим дедушкой, от своих родителей, от старика жениха. Дедушка твой — он был отчаянный, привёз меня из города Казани в эту свою деревню...

Бабушка обмахнула веником дедушкину шубу, валенки, свой бархатный казакин и маленькую бархатную шапочку.

Сложила всё это в сундук, опустила крышку и тихонько засмеялась:

— И никогда, никогда не было у меня ни шёлкового платья, ни красных сапожек, да и сахар видела не каждый день, хотя и был твой дедушка самый лучший сапожник на свете. Зато было у нас в доме много-много детей — двенадцать человек! Восемь мальчиков и четыре девочки. Все выросли, уехали кто куда. Твой отец, мой сын Гариф, был младший, он здесь остался, здесь женился. Но родные твои дяди, тёти, их дети живут по всей земле нашей. Вот ты какой богатый. И я тоже богатая — дети моего младшего сына живут в моём доме. Тот дом пуст, где детей не слышно, те люди бедные, у кого нет малыша в люльке.

— Правильно, бабушка! Достанем старую люльку с чердака, и пусть в ней живёт наш малыш! Щенок мой милый!

Миргасим рассказал бабушке, какой он красивый, какой нарядный и какое славное у щенка лицо.

— Почему брат Зуфер на него обиделся? Вот и взяла Асия щенка себе. Но я первый сказал — это щенок! Значит, он мой. Она даже не знала, кто плачет. Если она слов его не понимает, как будет щенок с ней разговаривать?

— Горячо о щенке заботишься, Миргасим. А девочка? О ней подумал? Живёт здесь без отца, без матери, ни сестры нет, ни брата, один только дедушка, да и тот всегда занят... И вот появился у неё щенок, такой милый...

— Потому и жалко его, что милый. Был бы плохой, и говорить тебе про него не стал бы.

— Эх, Миргасим, Миргасим, знаешь, как в моём доме было? Самое лучшее кому? Маленькому — он беспомощный, он малыш. Понемногу, понемногу начал на ноги вставать, глядит — а в доме есть уже кто-то поменьше его. За тобой меньших нет. Что же, так и будешь всю жизнь маленький? Всё тебе да тебе?

— Виноват я, что щенок один? Было бы два...

— Сдерживай свой гнев, Миргасим, иначе поседеешь в молодости.

— Знаю, знаю, ты хочешь, бабушка, чтобы я отдал ей свою собаку!

— Ничего тебе не скажу, и Зуфер слова не скажет, не наше это дело — твоё. Как решишь, так и будет.

Миргасим очень огорчился, очень. Но взглянул на башмаки, и губы сами засмеялись — подмётка-то какая толстая, твёрдая, как дубовая! Подбита она медными гвоздиками, ясными, как золото. А на каблуках светлые, словно серебро, подковки. Миргасим положил башмаки на скамью вверх подковками:

— Ладно, пускай щенок живёт у Асии. Мало, что ли, собак в деревне? Другую найду и будет во сто раз лучше. А башмаки отличные, правда, бабушка?

— Дедушка сшил их из самой лучшей кожи, какую только можно было достать в те времена. Знаешь, для кого он их шил? Для твоего отца, потому что был он у нас самый маленький. Но знаешь, ноги росли у него быстро, всего год или два он башмаки эти носил — обувал только по праздникам. Потом я спрятала их, лежали в сундуке. Лежали-лежали и пригодились. Знаешь, кому? Твоему старшему брату Мустафе. Это для Мустафы дедушка прибил подковки, а сковал подковки дядя Насыр-кузнец. Он сковал их из осколка старой сабли. Да, из настоящей боевой сабли сделаны эти подковки. Мустафа башмаки надел, как в первый класс пошёл. Ходил в них всю осень, а к весне ноги выросли! После Мустафы башмаки достались Зуферу. Теперь ты будешь ходить в них. Они прочные, как железо. Но, внучек, на тебе и железо горит. После тебя разве сможет их кто надеть?

— А мои дети?

...В далёкой от проезжих дорог деревне, где живёт Миргасим, не было обычая праздновать день рождения. Это Миргасимова бабушка привезла из Казани такой праздник. Теперь у нас каждому человеку отмечают его день.

Миргасим подпоясал красным шёлковым платком свой хрустящий, новый парусиновый фартук, натянул на ноги красные шерстяные носки, лихо заломил соломенную шляпу.

Бабушка достала из сундука большой осколок зеркала:

— Взгляни на себя.

Ох и красиво! Осталось только обуться. Но первый раз в жизни надеть башмаки вовсе не так просто. В башмаках

столько дырочек, в каждую надо продеть шнурок, а кончики завязать петелькой.

— Бабушка, не говори никому, что ты меня обувала.

— Ну что ты, я ведь только немножко помогла тебе.

Осторожно спускает Миргасим на пол одну ногу, потом, держась за скамью, ставит другую. Сделал шаг, другой, подпрыгнул и побежал по полу. Звонко стучат башмаки на ходу: топ-топ, цок-цок, будто едет джигит на быстром коне.

— Но, но! — торопит сам себя Миргасим.

Ему не терпится выскочить на улицу, чтобы ребята увидели, какой он нарядный. Но в сенях он вдруг оборачивается:

— Бабушка, а гости? Когда они придут?

— Гости? — Она утирает фартуком свои выцветшие добрые глаза.— Э-э, алла! Какие теперь могут быть гости, мой внук? От твоего отца нет писем. Брат Мустафа был ранен и уж снова воюет. Гитлер — да будет проклято его имя!

— Проклятый Гитлер! — повторяет Миргасим слова бабушки и мрачный выходит на крыльцо.

Но солнышко светит так ярко, в тёплом воздухе сверкают тончайшие паутинки. Миргасим сразу забыл и про войну, и про Гитлера; громко стуча подкованными каблуками, он сбегает с крыльца и спешит к своему другу Абдулу-Гани, к сыну дяди Насыра-кузнеца.

Глава десятая

ВНИЗ ПО УЛИЦЕ

Чётко отпечатываются подковки на ещё не обсохшей от росы земле — виден каждый гвоздик. Должно быть, скакал здесь Конёк-горбунок — уж очень маленькие у лошадки этой копытца!

Такие следы не каждый день случается увидеть на деревенской улице, почему же никто не вышел на крыльцо, не выглянул в окошко, чтобы посмотреть, кто бежал, кто скакал здесь?

Подошёл Конёк-горбунок к дому с затейливым крылечком, с резными ставенками и весёлыми окнами. На окнах

за стеклом — герани красные, как огонь, герани белые, как сахар, и розы жёлтые, как чай. В этом доме живёт рыжий Абдул-Гани, рыжая сестрёнка его Наиля, рыжий брат Зианша и золотоволосая тётя Карима, их мама.

Позади дома кузница. До войны дверь кузницы всегда была приоткрыта. Горн был раскалён, и крыша над горном была разобрана, чтобы дым выходил. Зимой по краю дымоходного отверстия сидели вороны — грелись.

Рядом с горном, на земляном полу, лохань с водой.

Кузнец дядя Насыр весело, будто играючи, поднимал и опускал молот, но пот, бывало, струился по лицу, заливая глаза. Он локтем, вернее, засученным рукавом смахнёт пот и опять стучит по железу на наковальне.

Деревенские ребята часами торчали в кузне, дожидаясь счастья, когда кузнец кому-нибудь скажет: «К мехам!» И начинал счастливец, другим на зависть, качать мехи, чтобы жарче горело топливо, чтобы сильней раскалялся горн. Дядя Насыр был справедлив, не было у него любимчиков, и каждый желающий мог хотя бы немного поработать.

А младшие, и Миргасим в их числе, которых к мехам ещё не допускали, стояли у двери, ожидая, когда кузнец крикнет:

«А ну-ка, ты, подай вот тот пруток». Или: «Ты, принеси со двора брусок!»

Этот брусок или пруток, раскалив, кузнец начинал бить на наковальне. Раскалённое железо плющилось под ударами молота, казалось мягким, податливым, как масло.

Горячие поковки кузнец бросал в лохань с водой, и вода шипела, кипела, пар поднимался, как в бане.

Дин-дон! Ди-ди-дон! Дон-дон... — звенело в кузнице.

Сюда, на этот звон, приезжали из окрестных селений русские, чуваши, мордвины. Дядя Насыр с каждым умел поговорить, посмеяться, а главное, каждому умел он помочь: обод ли для колеса скуёт, гвоздь или подкову — пожалуйста!

Вот, бывало, увидит кузнец Миргасима, как он заглядывает в кузницу, и закричит своим громким голосом:

«Заходи! Сегодня могу тебе язык подковать, завтра будет поздно. Хочешь, нос из короткого в длинный вытяну? А мо-



жет, нужны тебе железные зубы, медные когти? Заходи! Сделаю. Будешь Камыр-батыр непобедимый».

Тихо теперь в кузнице. Дверь закрыта. Ни шума, ни звона, ни смеха. Кузнец ушёл на войну.

В доме тоже тишина. Посвистал Миргасим, покричал, никто не отозвался. Должно быть, ушли в поле. Сидит на пороге большая толстая кошка, облизывает лапу и усердно трёт лоб, усы, щёки. Умывается. Гостей намывает.

— Дурочка, какие теперь могут быть гости? Война!

Усы у кошки белые, сама серая, маковка и уши чёрные, а посреди лба рыжая полоса, будто пробор. Красавица! Не поверишь, что весной была с кулачок. Её принесли кузнецу в подарок — трёхцветная кошка к счастью.

«Ладно, оставайся, Чёрные ушки»,— сказал дядя Насыр.

Так и прозвали её: Черноушка.

А самого дядю Насыра зовут у нас в деревне Алтынбаш — Золотая Голова.

Посвистал-покричал Миргасим и двинулся дальше вниз по улице. Деревня наша большая, улица длинная: двадцать домов по одну сторону и тридцать, а может, даже и тридцать два дома — по другую.

Поравнялся Миргасим с избою Фарагата-коротышки. Здесь на окнах вязаные занавески, на ступеньках крыльца нарядные, плетённые из разноцветных лоскутьев половики. В этой избе много женщин — мать, бабушка, две тёти, три сестры. А мужчина только один остался — Фарагат, другие мужики из этой семьи сражаются, нас они защищают. Все женщины этого дома лучшую одежду шьют Фарагату, самый сладкий кусок дают Фарагату, всю работу делают за Фарагата, боятся, должно быть, как бы и он от них не ушёл на войну.

— Эй, Фарагат! — позвал Миргасим.— Фарагат!

Неужто и он сегодня в поле?

«Ну и пусть! Не его сегодня, а мой день рождения,— успокаивает себя Миргасим,— что случится, если я немного погуляю? В поле и без меня работников полно».

Изба Темирши рядом с Фарагатовой. Дверь снаружи припёрта палкой, окна прикрыты ставнями, но чей-то голос слышится во дворе. Приоткрыл Миргасим калитку и увидал сестру длинного Темирши, длинную Разию. Она сидела на земле, вытянув босые ноги, и плакала:

— Все в поле, а меня дома оставили сестрёнку нянчить...

Рядом с Разиёй, тоже на земле, на войлочной подстилке лежала глазастенькая крошка Аминэ и старательно запихивала в рот левую пяточку.

— Все работают сегодня, а я что? Хуже других, да? — причитала Разия.

На Миргасимовы обновы она и не посмотрела.

— Всегда я дома сижу, всегда-а-а...

Миргасим смотрел на маленькую Аминушку — как она выросла! Когда война началась, она только «уа-уа» гово-

рила, а теперь вовсю лопочет, только не поймёшь, о чём она говорит.

— Была бы у меня такая сестрёнка, я сидел бы с ней.

— Хочешь? Посиди с моей сестрой,— обрадовалась Разия,— а я побегу в поле!

— Мне сегодня недосуг,— сказал Миргасим и выскочил на улицу. Он шагает вдоль по улице, заглядывает в каждый дом, где живут его приятели, но что-то их не видно.

Вот и последняя, самая маленькая в деревне избушка. Примостилась с краю у проезжей дороги. Сложена изба из самодельного, высушенного на солнце кирпича. Узкое окошко, тяжёлая дверь. Эта дверь обита войлоком, обтянута клеёнкой.

Здесь живёт Фаим-сирота у своего дяди, старика Сарана. Саран — это значит «скупой». Имя у старика такое или прозвище?

Когда Саран-абзей видит на ком-нибудь обнову, он пощупает материал руками, понюхает, сплюнет в сторону и скажет:

«Грош этому цена была в старое время». Или ещё так: «Три копейки это стоит в базарный день».

Фаим-сирота, подражая дяде, тоже частенько бормочет: «Три копейки, грош цена».

Интересно, что скажет он, когда увидит кожаные башмаки?

Миргасим поднимается на приступку, стучит в дверь сначала легонько, потом посильней, наконец грохает кулаком изо всех сил. Он не замечает, что из окна глядит на него сам хозяин, Саран-абзей.

Дверь сегодня не заложена, как обычно в этом доме, на засов, потому что старик собирался идти на свой огород и думал запереть дверь снаружи. Но сначала хотел он помолиться. Возможно, надеялся, что мальчик постучит, постучит и уйдёт, не достучавшись. Но не таков наш Миргасим. Он толкает дверь, входит.

В доме темно и тихо, как в яме.

Старик Саран, в высокой бархатной шапке, в белой рубахе без пояса, стоит босой и смотрит на восток. В руках у него деревянные бусы, нанизанные на кожаный шнурок —

чётки. Он молится. Сколько нанизано бусин, столько раз надо повторить имя бога.

Саран-абзей опускается на молитвенный коврик и шепчет:

— Алла-га, алла-гу...

Миргасим даже вздохнуть не смеет.

— Алла акбар...

И убежать нельзя. Вошёл, не поздоровавшись, и уйти, не попрощавшись? Нет, так будет нехорошо, невежливо. От бабушки достанется, пожалуй.

Наконец Саран-абзей отложил чётки, поднялся. Глаза его, словно два буравчика, так и колют, так и сверлят, а руки, будто клешни, уже вцепились в Миргасимов новый фартук.

— Гроша ломаного за такой холст в прежнее время никто не дал бы. Ткань редкая, грубая, как дерюга. Разве таким товаром купец торговал?

«Купец? Это, должно быть, такой человек, что бабушку хотел купить за самовар. Вот интересно!»

— Дядя, а вы купца знали? А что такое дерюга?

— Ох-ох-ох, о-о-о-о!..— стонет старик вместо ответа.— Ой, спина! Ой, руки-ноги болят!.. Зачем о купце говорить? Поговорим о хлебе. Раньше хлеб люди серпом жали, каждый колос, каждая соломинка у жнеца в руке. А теперь — комбайн! Сколько зерна после комбайна остаётся? Когда я вижу, как пропадает хлеб, то, кажется, лучше бы меня на куски резали... Зачем сюда пришёл? Что стоишь? Заблудился? Беги в поле, собирай колоски. Все работают, он гуляет! Барин ты, что ли? А может быть, помещик? Время теперь горячее. Дождь пойдёт — хлеб пропадёт. Ох, будет, будет дождь — ноги мои болят, руки болят, зубы болят...

— В больницу надо вам поехать,— сочувствует Миргасим.

— От старости нет лекарства. Если бы врачи старческие немощи лечить умели, никто не умирал бы. А если мне суждено умереть, какой толк принимать лекарство? Болезнь вылечишь, а судьба останется. Кто в больницу попадёт, тот живой оттуда не уйдёт. Пойду-ка я лучше на свой огород... О-о-о, спина ломит, голова болит... О-о-о!..

А сам берёт цапку и лопату, суёт ноги в галоши:

— Ох-ох-ох!.. Ле алла иль алла, Мухаммед ресуль алла — нет бога, кроме бога, Мухаммед пророк его.

— Салям, привет! — говорит Миргасим и выбегает из тёмной избы на улицу.

«Хитрый этот старик, не может видеть, как добро пропадает, а сам на поле не пошёл — ноги болят, руки болят! Свой огород копать зубы не болят? Хитрый, очень хитрый!»

А Миргасим? Он тоже, должно быть, хитрый: на поле тоже не пошёл. Старик на свой огород поспешил. А Миргасим куда торопится? К Асие! Хотя она и москвичка, но обувка у неё никудышная, вся в дырах — сандалии называется. Пусть поглядит Асия, какие у Миргасима башмаки. В Москве таких не купишь!

Дедушка Асии колхозный садовод, и живут они, дедушка и внучка, в глубине колхозного сада, в белом домике под яблоней.

Дорога туда не близкая. Башмаки, пожалуй, поцарапаешь, если идти пешком. Миргасим выдернул прут из чужого плетня и поскакал верхом.

Глава одиннадцатая

ДОЖДЬ СКВОЗЬ СОЛНЦЕ

Долго ли, коротко ли скакал, сам не знает, как вдруг навстречу ему чёрный дракон. Хвост драконий половину неба закрыл, тень от его крыльев чёрным одеялом по земле стелется. Пасть свою дракон широко разинул, на солнце нацелился. Но солнце не поддалось тьме. Лучи света, словно копья, в чёрное тело дракона вонзились и прокололи насквозь. Загоревал, заплакал дракон, и слёзы его пали на землю частым дождём.

Дождь сквозь солнце — светлый дождь, добрый дождь!

Застучал дождь, как горох, по сухой земле, засверкали капли, как битое стекло в зелёной траве, засновали дождевые нити между небом и землёй, словно кто-то ткал хрустальную ткань и расстилал её над землёй и по земле...

Но вот все нити спутались и разлились волнами. Минуту назад шла по дороге колея, теперь бежит река. Каждая впадина стала морем, и закипел в морях этих бой: словно пулями, прошита пузырями каждая лужа. Бурлит дорога, сверкают молнии, грохочет гром. Шумит, бушует дождь сквозь солнце, светлый дождь, добрый дождь! Ждёт тебя картошка, и редька, и капуста, и свёкла. А хлеб? Сегодня только убирать начали. Беда!

— Дождик, дождик, перестань, пойду с жалобой в Казань, полечу на небо: «Выглянь, солнышко, дай хлеба!»

Топают башмаки по морям, по озёрам, шагают вдоль бурных рек, шлёпают по лужам. Сам Миргасим до нитки промок, а ноги в башмаках сухие. Если Асия глазам своим не поверит, пусть руками пощупает. Жалко, что ли?

Внезапно дождь оборвался, растаял в небе чёрный дракон, и поплыли в разные стороны перья из его хвоста. И раскрылись в небе семицветные ворота, из-под этих ворот, будто чёрные стрелы, рванулись вверх ласточки и рассыпались по небу.

Небо после дождя — как туго натянутый светлый шатёр. Ласточки под шатром паря́т. Жаворонок, часто-часто перебирая крыльями, вызванивает свою прощальную песенку. Она не столь сильна, как весенняя, но такая же светлая, серебристая.

А радуга упёрлась одним концом в дальний холм, другим — в небо. Говорят, кто под радугой пройдёт, своё счастье найдёт.

Только никому в нашей деревне пройти под радугой не удалось. А вдруг Миргасиму повезёт? Ведь сегодня день его рождения!

— Дуга-радуга, постой, я пройду под тобой...

Вот пройдёт и станет сильным, как Камыр-батыр. Всё ближе, ближе подходит Миргасим к радуге и становится сильнее, сильнее. Он Камыр-батыр, он волком по степи бежит, птицей над горами летит, в воде он рыбой плывёт. Одолел огнедышащих драконов с медной чешуёй. Разорвал железную цепь толщиной в руку, которой злодеи приковали к скале красавицу. Все беды одолел непобедимый Камыр-батыр, и пришёл он к седому, вечно шумящему морю. По-

среди моря был остров, опоясанный скалами, острыми, как сабли. А на острове стоял жемчужный дворец...

Нет, дворца почему-то всё ещё не видно, а богатырь уже выбился из сил.

Кожаные башмаки скользят по мокрой земле, ноги разъезжаются, завяз Миргасим в глине, как в тесте. Липнет глина к башмакам, наворачивается толстыми шинами на подмётку. Миргасим то одну ногу поднимет, то другую. Только счистит большим гвоздём грязь с левой ноги, как тут же увязнет правая. Правую отскребёт — увязнет левая. Хорошо, что гвоздь, на чём сковорода висела, Миргасим вчера из стены вытащил и спрятал в карман. Пропал бы он теперь без этого гвоздя!

Радуга давно растаяла, но Миргасим и не смотрит на небо. До неба ли ему, если по земле еле-еле ползёт. Идти с каждым шагом всё труднее. Ноги, натёртые прочной, как железо, обувью, словно в огне горят. Башмаки стали тяжёлыми, грязными — похвалиться нечем, и спешить к Асие теперь незачем.

«Как это незачем? — спохватился Миргасим.— А щенок?»

Но в башмаках не дойти, не доползти.

«Пришиты они к ногам, что ли?»

Разулся, сунул красные носки в карман, башмаки поставил под придорожный куст. Ноги так свободе своей обрадовались, что сами собой заплясали, а Миргасим запел:

Тра-та-та,
Тра-та-та,
Вот как я шагаю,
Тра-та-та,
Тра-та-та,
И беды не знаю!

— Э-эй, парень, осторожнее, смотри коня не раздави!

Это Абдракип-бабай, дедушка Асии. Он сидит на облучке телеги, свесив ноги. В телеге корзины, в корзинах яблоки. День жаркий, а старик в шубе, из которой вылезают клочья ваты, и в ватной шапке. «В мороз моя одежда холодит, в жару греет»,— смеётся Абдракип-бабай.

— Говори ты,— обращается он к Миргасиму,— много колосков собрал?

Миргасим молчит.

— Что голову повесил? Не хочешь идти в поле, не ходи. Дело это добровольное. Я тебе секрет один скажу: председатель велел яблоки всем ребятам раздать — кто работал, кто не работал,— всем. Получайте! На рынок везти — транспорта нет. Чем так сгниют, пусть лучше дети полакомятся...

Лошадёнка склонила голову набок. Видно, хочется и ей поговорить, да удила мешают, слова сказать не дают.

— Познакомься, Миргасим, с нашей старушкой, у неё четыре ноги, и каждая по-своему хромает. Вместо Батыра прислали. Всё-таки лошадь. Между оглоблями стоит — не падает, а что будет, если выпряжем? Упадёт, пожалуй, а? Вот и держим её день-деньской в оглоблях. Два часа стоим, полчаса бежим... Ловко тебя дождик выстирал. Не горюй! Летом дождь вымочит, солнце высушит... Жалко, не был в поле, не видал ты, как там внучка моя городская работает. Вскочила сегодня раньше петухов: «Ах, дедушка, не сердись, время военное, даже одно зерно жалко оставить мышам!»

Лошадка мотнула головой, тряхнула хвостом, пожевала губами и только было собралась сказать: «Слыхал? Асия в поле!», но Абдракип-бабай взбодрил её вожжами, пощёлкал языком, и телега поползла дальше.

Миргасим долго не смел поднять опущенную голову. А когда посмотрел телеге вслед, увидал, как убегают от него два задних колеса, корзины с яблоками, шапка Абдракипа-бабая и лошадиные уши. Издали было это похоже на улитку с двумя рожками. Медленно двигалась улитка, ползла туда, где под ярким солнцем ходили волны спелого хлеба. А навстречу улитке, оттуда, с той полосы, где небо с землёй сливается, выплыл комбайн.

Ну можно ли оставаться здесь, если комбайн в поле?

Ай легко, ай хорошо бежать босиком по тёплой, мягкой земле! Дождь сквозь солнце — добрый дождь! Небо синее-синее, чёрной тучи будто и не бывало, а ласточки пари́т низко, у самой земли. Залетают вперёд, отстают, реют рядом, зовут:

— Догони, догони нас!

Нет, ласточки, Миргасиму не до игры, он спешит, очень спешит.

Глава двенадцатая

ЕЩЁ ОДИН РАБОТНИК ВЫШЕЛ В ПОЛЕ

Медленно плывёт по золотому морю большой корабль. Срезая под корень шелестящие волны хлеба, он приближается к путнику, застрявшему на берегу. Да, комбайн — это корабль, но из трубы не дым валит, как на картинке, что приклеена к бабушкиному сундуку, а течёт мощная струя зерна. Течёт, льётся зерно из трубы, падает в широкий кузов и стучит, стучит, как дождь.

Грузовики, тарахтя и фырча, подвозят только что обмолоченный хлеб к навесу и там ссыпают его. Холмы зерна блестят, как переливчатый светлый шёлк.

На мостике комбайна стоит капитан, рыжеволосый Зианша, брат Абдула-Гани.

Он ведёт свой корабль навстречу путнику, потерпевшему крушение. Босой, в сырой одежде, этот путник похож на мокрого мышонка.

Зианша улыбнулся, наклонился, протянул руку:

— Эй, именинник, айда сюда, не робей!

Миргасим и вздохнуть не успел, как очутился на мостике. Ох и высоко здесь! И видно далеко-далеко. Вон по правую руку ворошат солому мальчики, по левую — девочки. Там, где работают девочки, воткнуты в землю два шеста, между ними трепещет на ветру белое полотнище, узкое и длинное, как полотенце. Там изображён боец с ружьём и нарисованы большие красные буквы.

— Что это?

— Плакат.

— Был бы я грамотный, сто раз вслух прочитал бы, чтобы все знали.

Зианша засмеялся, потом всё-таки прочитал вслух:

КАЖДОЕ ЗЕРНО СТРЕЛЯЕТ ПО ВРАГУ!



Утром как хотелось Миргасиму обновками своими похвалиться... Теперь у них каждое зерно стреляет по врагу, а у него что? Башмаки под кустом, шляпа намокла, поля её обвисли, фартук грязный, носки красные в кармане тоже мокрые...

А всё же и Миргасиму есть чем погордиться — ребята по земле ползают, а он стоит на корабле.

— Э-э-эй! — закричал Миргасим.— Исямсез! Здорово!

Ребята перестали ворошить солому, подбежали к комбайну:

— И нас, и нас прокати, Зианша!..

Девочки тоже подошли поближе. Может быть, им позволят постоять на комбайне? Хоть минутку...

— Давай вниз, Миргасим,— приказал Зианша,— покатался — и хватит.

Миргасим спрыгнул, ребята окружили его.

— Где это ты так вымок?

Миргасим хотел было сказать: «Я под радугой прошёл», но увидал Зуфера и голову опустил.

Рядом с Зуфером, опираясь на костыли, шёл только недавно вернувшийся из госпиталя председатель колхоза дядя Рустям.

Мальчики и девочки почтительно поздоровались с бывшим солдатом и ещё усерднее взялись за работу.

Зуфер посмотрел на Миргасима, потом обратился к председателю:

— Дядя Рустям, вот ещё один работник вышел в поле.

Председатель поднял опущенные края Миргасимовой шляпы:

— Молодец! Спасибо, что пришёл.

И Миргасиму захотелось собрать много-много колосков, больше, чем все. Но сколько ни старался, сколько солому ни ворошил, нет, ничего не нашёл. С досады Миргасим ногой солому вверх подбросил, и вот даже не верится — вот она, к ногам упала золотистая гусеница, тяжёлая, с жёсткими, колючими щетинками.

— Колосок, милый колосок, спасибо, что тебя комбайн не подобрал!

Бережно опускает Миргасим свой колосок в корзину. Есть теперь в корзине и его хлеб!

Как весело, как хорошо сегодня в поле! Здесь сражаются две армии. С одной стороны мальчики, с другой — девочки.

Асия от девчонок деревенских ни на шаг не отстаёт. Приезжая, а колосков кладёт в корзину побольше, чем некоторые деревенские.

— Эй! — окликнул её Миргасим.

— Ты по жнивью босой ходишь? — ужасается она.

— Я не босой, я обут в копыта.— Он поднимает босую ногу чуть ли не к самому носу Асии.— Не веришь? Пощупай, не бойся!

Асия проводит своей нежной белой рукой по жёсткой, огрубевшей подошве.

— Ой, правда, копыто, настоящее копыто!

— У меня и другая нога такая же. А щенка ты куда девала?

— Он в больнице. Дядя Сабир поехал в райцентр и щенка прихватил, говорит — надо проверить, сделать анализы, прививки — может, он заразный.

Дядя Сабир, отец длинного Темирши, длинной Разии и маленькой Аминушки, Сабир-верста, как его называют в деревне, работает зоотехником. Делает скоту прививки и собак тоже не забывает. Кто собаку на укол не приведёт, тому длинный Сабир, Сабир-верста, грозит:

«На санитарную станцию сообщу, в сельсовет пожалуюсь, милиции заявлю! Если уколы собакам не делать, могут они заболеть, заразят скот, людей. Борьба против заразных болезней — дело государственное...»

— Зачем щенка дяде Сабиру отдала? Кто в больницу попадёт, тот живой оттуда не уйдёт.

— Глупости!

— Нет, ошибаешься. Это один умный человек мне так сказал. Видела бы ты, какая репа растёт у него на огороде, дураком не назвала бы. Каждая репина с твою голову.

Миргасим снова принялся за дело.

— Мы должны победить,— говорит он своим товарищам,— наша корзина будет тяжелее. Мы девчонок победим.

— Как же, победишь! — пыхтит толстый Фарагат.— Погляди, какой у них лозунг, а у нас что?

— Это рисовала моя сестра Наиля! — хвалится Абдул-Гани.— Здорово она рисует? Правда? Вырастет — будет учительницей...

Да, Наиля рисует хорошо, это все знают. Но почему девчонкам нарисовала, а мальчикам нет?

— К-кон-нечно с-с так-ким п-плакат-том раб-ботать веселей,— говорит усердный Темирша.

— Ну взял бы да перетащил плакат на нашу сторону,— подстрекает Фаим-сирота.

— А если я полотно белое дам? — спохватывается Миргасим.— Пусть и у нас будет лозунг.

Он снял свой уже далеко не такой белый и всё ещё влажный фартук и побежал к Наиле:

— Пиши, Наиля, пожалуйста, пиши! «Каждый колосок — граната». Пиши, фартука не жалко.

— Не мешай работать, Миргасим. Нет здесь у меня ни красок, ни кистей.

— Для девчонок были краски, для нас нет?

— Уйди ты отсюда! Для всех этот плакат, понимаешь? Для всех.

— А почему на вашей стороне повесили? Если у нас нет, то пусть и у вас не красуется! — Миргасим обхватил шест и принялся расшатывать.

— Миргасим...— тихонько подошла к нему сестрёнка Шакире.

Если бы Зуфер здесь был, он и говорить не стал бы, отшвырнул бы Миргасима в сторону, и всё. Но Шакире, вот беда, драться не умеет. Она только глазищами своими чёрными печально посмотрит и сразу хоть слушайся, хоть плачь, а спорить с ней не станешь. Девочка-то ведь в этой семье одна! Лучше уж отвернуться, лучше не смотреть. И Миргасим, отвернувшись, не глядя, продолжает раскачивать шест.

— Шакире,— услыхал он голос Асии,— не трогай его, пусть сорвёт плакат, пусть опозорит он себя на всю деревню. Если бы я была его сестрой, ни за что замечания ему не сделала бы.

— Ты говоришь так,— отвечает Шакире,— потому что ты ему не сестра. Зачем это человеку из нашей семьи позориться на всю деревню? Не такая наша семья. Миргасим, прошу тебя, Миргасим...

Ещё неизвестно, чем бы всё это кончилось, если бы вдруг из-под плаката не выскочила длинная Разия.

— Отпустили меня, отпустили! Мама домой пришла, сказала — иди в поле! Кому помочь? — и ухватилась за другой шест.— Я помогу тебе, Миргасим!

Ну и смеху было! Миргасим так смеялся, что чуть живот у него не лопнул.

Побежал он обратно к мальчишкам:

— Мы и без плаката победим. Нельзя, чтобы девчонки больше нашего собрали.

Молча ворошат солому мальчики, не разгибая спины работают.

Даже Миргасим примолк.

А солнце своё дело знает, к речке оно спускается, небо поджигает.

— Бетте, беткен! Кончили,— говорит Зуфер.— Айда к весам! Темирша впереди, Миргасим позади.

Это, конечно, справедливо, а всё-таки обидно. Виноват разве Миргасим, что Темирше в соломе много колосьев попалось, а ему всего только один колосок? Кому какое счастье.

«Мой один колосок тяжелее, чем десять других. Там каждое зерно было не простое, золотое...»

Миргасим ободрился, глаза его сияют:

«А вдруг в самом деле зёрна не простые? Эх, надо было этот колосок пометить, чтобы среди других он не затерялся! Как его теперь найдёшь, как узнаешь?»

Миргасим вдруг притих, шаги замедлил, голову опустил, вниз смотрит. Потерял он здесь что или нашёл?

Да, нашёл. Увидал колышки, в землю вбитые, и отца вспомнил, как прошлой осенью стоял он здесь, на узкой меже, и глядел на только что вспаханную и разрыхлённую граблями делянку.

«Что у тебя в руке, папа?» — спросил Миргасим.

Отец протянул ладонь, на ней лежало несколько зёрен озимой пшеницы.

«Смотри, сынок, каждое зерно — с воробьиное яйцо. Уже седьмой год зёрна для опытной делянки отбираю. Первый раз посеял, когда ты родился».

«У воробьёв яйца куда крупнее».

Отец захохотал:

«С воробьиное яйцо — это я маленько прибавил. А всё же каждое зерно почти вдвое тяжелее наших местных сортов. Не веришь? Можно взвесить».

Осторожно, бережно опускал отец эти тяжёлые, твёрдые семена в жирную рыхлую землю.

Вынимал из кисета по зёрнышку, как жемчужины: положит и умнёт землю пальцами.

Потом поставил колышки, заметил день, число...

«Будущей осенью,— мечтал вслух отец,— если всё хорошо будет, засеем этой пшеницей гектара два, а там... Эх, Миргасим! Понимаешь, что будет, когда пустим эту пшеницу на

колхозные поля? Там, где рос один колос, вырастут два. Понимаешь?»

Может, тогда Миргасим и не очень-то понимал, но теперь все стали умные, все понимают, что́ такое ломоть хлеба. Вместо одного ломтя будет, значит, два...

Вот они, отцовы колышки, и дощечка, которую надписывал. А пшеницы нет. Комбайн! Разве он понимает...

— Что пригорюнился? — И рука Зуфера опустилась ему на плечо.

— Здесь папина делянка была, вон колышки.

Зуфер обнял брата:

— Я вчера серпом жал, ни один колосок не потерялся. Мама снопы вязала. Стожок — вот он, смотри!

— Подсохнут снопы, я цепом обмолочу,— сказал Миргасим.

— Обмолотим,— отозвался Зуфер,— а под зиму высеем. Мама с дядей Рустямом договорилась. Где папа намечал, там и посеем.

Глава тринадцатая

ЯБЛОКИ

Вот принесли к весам свои корзинки девочки. Весовщик Абдракип-бабай высыпал колоски в мешок, взвесил, вытащил из-за уха карандаш, достал из кармана записную книжечку в красной обёртке и отметил, сколько килограммов собрали. Потом в таком же мешке взвесил, сколько собрали мальчики, тоже отметил, почесал карандашом кончик носа и сказал:

— Побеждённых нет. Все победители. Каждый получит заслуженную награду. Иди сюда, Разия. Ты пришла последней, за это яблоки получи первая. Правильно?

— Правильно, верно, она переживала, она сестрёнку нянчила.

— Теперь ты, Миргасим, подойди. Взгляни, какие выбрал я для тебя яблоки. Самые красивые.

«За один колосок — семь яблок? — удивляется Миргасим.— Но, может быть, колосок в самом деле не простой...»

Но тут вспомнил он сказку о коте, который гнался за мышью и не мог её поймать. Тогда он сказал: «Ты такая расторопная, такая шустрая, выйди из норки, покажи, как ты умеешь бегать. За это я дам тебе мешок пшеницы».— «Нет,— возразила мышь,— работа мала, а плата чересчур велика. Тут что-то не так».

И на всякий случай Миргасим спрятался за спины товарищей.

— Почему яблоки не берёшь? Я хотел поздравить тебя с днём твоего рождения. Но если не хочешь...

— Хочу, хочу!

Ах, что за яблоки! Тяжёлые, прохладные... Миргасиму так хотелось хоть одно надкусить... Но нет, лучше будет, если он все семь штук домой принесёт, на стол положит — ешьте!

— А мой когда день рождения? — смеётся Фаим и прячет свои яблоки в один карман, в другой, в чеплашку.— Должно быть, никогда я не родился...

— Вот кончим войну,— говорит Миргасим,— тогда мой день рождения и твоим будет. Бабушка и тебе подарки приготовит. У неё в сундуке барахла на всю деревню хватит!

Солнце спустилось низко-низко, к самой воде, а навстречу ему со дна реки поднялся золотой столбик. Мальчики рванулись было купаться, но Зуфер не позволил:

— Дома ужинать не садятся, нас ждут. А река к ночи ещё теплее будет.

Постояв на золотом столбике, солнце погрузилось в воду. А река, река-то как посветлела! Заря разлилась по небу, расплескалась по стенам домов, по крышам. Бабушкин дом стоит на краю деревни, у самой околицы, и заря жарче всего горит в окнах бабушкиного дома, золотит деревянные ступени высокого крыльца.

Розовая, помолодевшая в свете зари, выходит из дома на крыльцо мама.

Не довелось Миргасиму под радугой пройти, но в зарю-то он уж войдёт! Взбежит на крыльцо, обнимет маму: «Я работал в поле! Не веришь? Смотри!» — и вытащит из-за пазухи яблоки.

Но Зуфер иначе распорядился:

— Девочкам вольно, а мальчики пройдут строем по всей деревне. Миргасим, запевай.

Девочки просить себя не заставили, побежали кто куда, а Шакире и Асия поднялись на крыльцо, обняли маму... Миргасим шагает молча, насупившись.

— По маме соскучился или по бабушке? — шёпотом спрашивает насмешливый Зуфер.

— Не мужчина я, что ли? — рассердился Миргасим и запел:

Ах, на яблонях свои
Свили гнёзда соловьи!

Ребята подхватили:

Яблоко мы пополам съедим,
Друг за друга жизнь мы отдадим...

Миргасим поёт звонче всех, он запевала, он голосистый — в дедушку.

Пока мальчики с песней по улице шагали, люди из каждого окна им улыбались, ужинать звали, своих работничков приветствовали. Только из одной хибарки, той, что стоит у самой дороги, никто не вышел на ребят поглядеть, своего работника встретить.

— Стоять смирно! — командует Зуфер, потом говорит обыкновенным голосом: — Давайте споём для Фаима.

И хотя неприветливо смотрит родная хибарка, Фаим улыбается. Ещё бы! В карманах яблоки, вокруг друзья. И все поют для него! Может быть, и правда не только у Миргасима, но и у Фаима сегодня день рождения? Кто знает...

Вдруг тяжёлая, обитая войлоком и клеёнкой дверь отворяется, и высовывается из-за двери голова в высокой бархатной шапке:

— Ну, чего надо? Незачем шуметь здесь, незачем! У моей козы с перепугу молоко пропадёт.

— А молозиво? — спрашивает Миргасим.

Ребята от смеха на ногах не устояли, покатились по траве.

...Совсем недавно, за день до войны, Насыр-кузнец по всей деревне раззвонил про случай этот с молозивом.

— Дело было осенью под вечер,— говорил он,— возвращались мы вместе с дядей Сараном из села в деревню. Ему ближе полем идти, а я хотел было свернуть на луг, мне лугом ближе.

«Зачем тебе шагать по траве в такой холод и дождь? — сказал дядя Саран.— Считай, на эту ночь мой дом всё равно что твой, заходи. Кстати, корова только вчера отелилась и есть у меня молозиво. На базар молозиво не понесёшь, но приятеля угостить можно».

Видимо, старик боялся идти полем в одиночку. Я проводил его и зашёл в дом. Саран-абзей помедлил, покряхтел, но потом всё же принёс чашку молозива и чёрствый кусок хлеба. Я было протянул руку к еде, но хозяин сказал:

«О Насыр Алтын-баш, ведь молозиво тяжёлая пища, хорошо ли есть его на ночь? Если съешь молозиво с хлебом, будешь ни сыт, ни голоден, только желудок раздразнишь. Если же попросишь ещё, то с непривычки к такой пище может живот заболеть, а я ведь не припас для тебя ни кипятка, ни лекарства. Если бы я не принёс тебе угощения, ты мог бы обидеться, подумал бы, что я поскупился. Но разве я не должен был напомнить тебе о вреде, который может причинить неумеренная еда на ночь? Выбирай сам: еда и резь в кишках или немножко терпения и крепкий сон?»

Ну и смеялся в тот вечер народ! Только Абдракип-бабай оставался серьёзным.

— Подобную историю,— молвил он,— приходилось мне читать в молодости в книге аль Джахиза.

— Да, но разве история эта стала хуже оттого, что я пересказал её? — возразил кузнец Насыр, и люди ещё громче засмеялись.

Вот про это знаменитое молозиво и вспомнил сейчас Миргасим. А ребята рады посмеяться. Хохочут, будто железом грохочут.

— Долго вы тут, перед моим домом, будете траву мять? — сердится Саран-абзей.— Я здесь в конце мая косил,

в июле косил, и ещё в сентябре покосить можно будет. Нечего, нечего перед чужой избой траву топтать!

— По домам,— сказал Зуфер, и ребята, как воробьи, рассыпались во все стороны.

— Почему ты, Зуфер, около нашего дома ребят не отпустил? — спрашивает Миргасим.

— Чтобы Фаиму не скучно было одному к своему дяде идти. Давай наперегонки, кто быстрее домой прибежит, хочешь?

Нет, бежать Миргасим уже не может. Если бы выросли крылья, полетел бы... Нет, пусть лучше рыбья чешуя и плавники, он в воде поплыл бы. Ящерицей быть тоже не так уж плохо — лечь на согретый солнцем камень и лежать, лежать, а если кто схватит за хвост — пожалуйста! Хвоста не жалко, берите! Хвост Миргасим-ящерица оставит, а сам юркнёт в щель и уснёт.

Небо полиняло, поблёкло, потом стало затягиваться сине-серым пологом, и в него, как острия раскалённых добела иголок, вонзились звёзды.

— Поторапливайся,— сказал Зуфер.— Асия, должно быть, уже читает вслух газету.

— Ну и пусть читает, не могу я торопиться. Весь день работал, спешил. Хватит.

— Ладно, ты как хочешь, а я побегу.— И Зуфер побежал.

А Миргасим поплёлся ещё ленивее, медленнее.

В окнах изб зажигается свет, будто избы открывают глаза. Нет, не избы это, а совы желтоглазые — уставились на Миргасима, глаз не сводят. Позади тёмных крыльев-крыш небо чуть-чуть высветляется, будто кто смывает с него вечернюю августовскую синь. Это далеко-далеко в степи взошла луна. Вот выглянула она из-за трубы кузнецова дома и покатилась по небу, круглая, жёлтая, как яблоко антоновское.

«Такая маленькая,— думает Миргасим,— а всю нашу большую деревню освещает. А звёзды здешние никуда не годятся — их сколько было, но дорога всё оставалась чёрной. Луна взошла, и дорога сразу посветлела, блестит, как зимой, как в снегу...»

И ноги у Миргасима голубые, и дом голубой, стены светятся, будто инеем одеты. Забор тоже голубой, и стволы

берёзок за плетнём мерцают голубым светом. Полюбился луне Миргасимов дом, вот и повисла она здесь, как фонарь, над самой крышей.

Миргасим входит и на мгновение зажмуривается: как ярко горит над столом керосиновая лампа! Прищурившись, смотрит на пузатый медный самовар, слушает, как он свистит, ворчит, поёт. За самоваром мама, по правую руку Асия, по левую — Шакире, рядом с сестрой Зуфер. Дедушка Асии Абдракип-бабай тоже здесь.

Но место подле бабушки, Миргасимово место, свободно. Ложка его лежит рядом с бабушкиной, чашка его стоит рядом с её чашкой.

Бабушка встаёт:

— Пойдём, внук мой, умоемся. Гости у нас.

— Асия — гость?!

— Пойдём, пойдём.

Ну и намыла бабушка своего внука — уши мылила, руки песком, мочалкой тёрла. До того руки стали чистые, белые — противно смотреть! Не свои они будто — чужие. Даже ногти бабушка остричь успела.

Насупившись, подходит Миргасим к столу, достаёт из-за пазухи яблоки, одно за другим, и кладёт их — все семь штук, одно одного краше,— на скатерть.

— Попробуй, мама, до чего сладкие. И ты, бабушка, возьми. Пожалуйста!

Мать взяла яблоко.

— Они особенно сладки, сынок, оттого, что ты сам их заработал. Если жив отец, напишу ему: «Все наши дети на своих ногах стоят, все работают, даже Миргасим».

Ах эта москвичка, как засверкали, засмеялись её глаза! А сестрёнка, любимая, милая Шакире, свои чёрные глаза опустила. Стыдно ей, что мама папе неправду напишет...

— Нет, мама,— сказал Миргасим,— не пиши так папе, не надо. Председатель велел яблоки всем дать: кто работал, кто не работал — всем.

— А башмаки где? — вдруг спрашивает Зуфер.

Миргасим поджал под себя босые ноги.

— Я, я... Бабушка, ты не бойся. Чтоб мне провалиться, не бойся! Я найду их. Лопни моя башка, если не найду! По

следам найду. Ведь следы-то с гвоздиками. Ты не бойся.

А у самого слёзы навернулись на глаза, потому что он забыл, где оставил башмаки. Разве найдёшь их по следам? За день все следы на дороге перепутались.

— Бабушка, я найду их. Только у меня у одного каблуки с подковками. Следы такие заметные.

— Должно быть, заметные,— смеётся Зуфер,— если башмаки по этим следам сами домой пришли! — И он взглянул на печку, где сушились чисто вымытые башмаки.

— Закрой рот, Миргасим,— говорит сестрёнка Шакире,— а то самовар проглотишь.

Миргасим кинулся к печке, взял свои башмаки и прижал их к груди:

— Не могли они сами прийти. Их Абдракип-бабай, должно быть, принёс.

— До чего же умён стал, с тех пор как ему исполнилось семь лет! — говорит Зуфер.— Теперь уж и обмануть его нельзя, ну просто никак невозможно...

А жаль... Всё-таки Миргасим надеялся, верил немножко, что башмаки — топ-топ и притопали!

«Обидно, что Абдракип-бабай принёс их. Если бы остались там, под кустом, может, ночью, когда все спят, сами пришли бы...»

Глава четырнадцатая

ПИСЬМОНОСЦЫ

Возьмите лист бумаги, напишите письмо на одной стороне листка и сложите его от любого угла наискосок — получится треугольник. Около одной из сторон останется полоска. Треугольник перегните пополам, потом загните уголки на полоске и заложите её внутрь треугольника. Письмо ваше окажется в середине искусно сложенного пакета. Снаружи пишется адрес, и письмо готово.

Письма-треугольники — письма без конверта, без марок, с номером полевой почты вместо обратного адреса — ходили в войну по всей стране. Люди собирались вместе — знакомые,

незнакомые, свои, чужие — и читали вслух, перечитывали, передавали из рук в руки заветный треугольничек: солдат прислал письмо с фронта.

Но, случалось, приходили письма иные: взглянешь — как обожжёт, а внутри всё леденеет, не треугольник — конверт. Адрес чётко отпечатан на пишущей машинке. Да, буквы отчётливые, но в глазах темно, расплываются строки, плывут, плывут... «Погиб смертью храбрых...»

И чем ближе подходила Фатыма-апа — учительница, Фатыма-апа — письмоносец, к дому, куда послана печальная весть, тем тяжелее оттягивала плечо сумка, тем медленнее двигались ноги.

Нет, какую угодно дайте работу, только не быть письмоносцем! Но ведь кто-то должен носить в деревню письма, газеты — почтовое отделение от нас в десяти километрах. Мало почту принести — надо ещё и прочитать вслух, поговорить, быть товарищем в радости, другом в беде. Кто найдёт в трудную минуту настоящее, нужное слово? Кто же, если не ты, учительница? Другим не легче: конюхи — женщины, трактористы, лесорубы — женщины... И дети.

Встаёт Фатыма-апа вместе с доярками, вместе с солнышком. Идёт по утреннему холодку, как плывёт — она у нас лёгкая, быстроногая. А всё же обратно, с тяжёлой сумкой через плечо, идёт она медленнее. Не ноша тяготит — новости: немцы рвутся к Москве.

Каждый спешит ей навстречу, новости спрашивает, к словам её прислушивается. Ещё бы! Она ведь не простой человек — учительница! Приехала из города. Город большой — четыре школы, аптека, клуб, кинотеатр, читальня и магазин канцелярских товаров. В магазине продают клей, чернила, книги и разноцветные карандаши — бери сколько хочешь! Фатыма-апа в том городе восемь классов окончила и ещё два года в техникуме училась. Техникум отличный, двухэтажный, каменный.

Кто не знает, что Фатыма-апа учительница, не поверит: уж больно она молода.

Правда, она ещё не совсем учительница, никого ещё не выучила, учить начнёт впервые с этой осени. А пока её работа — почту носить.

Бабушкина изба стоит на краю деревни, самая первая. Сюда прежде всего заходит Фатыма-апа — учительница. Фатыма-апа — письмоносец.

— Ни халь, как дела? — интересуется бабушка.— Какие новости?

— Фашисты рвутся к Москве,— говорит Фатыма-апа опустив голову, словно сама в этом виновата.

Вынимает из сумки газету, кладёт на стол.

О письмах бабушка не спрашивает, боится. Хорошо, если треугольничек, а если конверт? Бабушка сумки будто и не видит:

— Отур, кызым, садись, дочка, отдохни немного. Ноги твои стёрты, я тебе масла целебного дам — положу на лист подорожника и привяжу к ноге. Губы твои потрескались, я тебе чаю налью, попей с мёдом.

— Спасибо, бабушка, в другой раз, теперь недосуг.

— К чему спешить? Счастливая весть прийти не опоздает, беда никуда не денется. Выпей чаю, поешь картошки горячей... Нам сегодня, значит, только газета?

— Мне, бабушка, тоже ничего нет...

А сама краснеет, и вниз опускаются крылья-ресницы.

— Ты сильно похудела, детка, каждый день столько шагать! Лошадь не выдержит. Ешь веселее, кушай, милая, не стесняйся...

Вот как за ней бабушка ухаживает! Потому что она, апа эта, письмоносец. Письма носит. Миргасим тоже письмоносцем работал, целую неделю. Потом его уволили. Брат Мустафа сначала нанял, договорился, а потом уволил...

Бывало, брат Мустафа вечерами письма строчил, а Миргасим бегал, носил их Фатыме-апа. Принесёшь и сиди, дожидайся ответа. Она пока целую тетрадку не изорвёт, письма не напишет. Ну и учительница! Одной строчки сразу не одолеет, по двадцать раз каждое слово перечёркивает! Двойку ей за такое письмо Миргасим поставил бы.

Но вот однажды прочитала она письмо Мустафы и молвила:

— Ответа не будет.

Миргасим обрадовался — надоело каждый вечер у её по-

рога сидеть, письма перечёркнутого дожидаться. Мячом соскочил он с крыльца и покатился домой, не разбирая дороги, по камням, по канавкам, через плетни и заборы:

— Ур-р-ра! Ответа не будет!

Как услыхал Мустафа эти слова, опрокинул на голову целый флакон одеколона, нацепил на шею галстук и помчался к Фатыме-апа.

Миргасим дал ему добежать до угла, а потом припустился вдогонку.

Мустафа подошёл к избе, где жила апа, походил под окнами, покашлял, потом согнутым пальцем тихонько постучал по оконному стеклу.

Апа вышла на крыльцо. Была она в белой шали, в лакированных туфлях, будто фея из сказки, будто в клуб собралась или в гости, будто и не видит она Мустафы. Он окликнул её. И начали они разговоры говорить.

Говорить-то говорят, да, как назло, всё шёпотом, шёпотом. И пришлось Миргасиму вскарабкаться на ворота, чтобы хоть словечко услыхать. Но и сидя на столбе, ничего не услышал, да зато такое увидал, чуть с ворот не свалился: брат Мустафа и Фатыма-апа целовались!

Миргасим на столбе висел, не дышал, готов был всю ночь не шевелясь висеть, только бы его не заметили. Но апа вдруг подняла ресницы, глянула вверх, и глаза её вспыхнули, встретившись с глазами Миргасима.

Ни словечка Миргасим не сказал ей,— за что же так рассердился брат Мустафа? Письма свои теперь сам приносил учительнице... А потом война началась, и писем вовсе не стало...

Сидит апа, чай пьёт, но смотрит не на бабушку, а на чёрный футляр, в котором отдыхает гармонь Мустафы. Вспоминает, должно быть, Фатыма-апа, как Мустафа на гармошке играл, какие песни пел.

Не позабыть и Миргасиму, как однажды на берегу реки плакала эта гармонь. Фатыма-апа в тот день на камне сидела, смотрела, как плывут облака. Брат Мустафа на те же облака глядел и пел, перебирая лады гармони:

В горницу залетела бабочка.
Как вспомню о милой,
Кладу в сторону рубанок,
Отдыхаю сложа руки.
    Пальцы твои — камыши,
    Брови — чёрное перо,
    С ресниц сыплются искры,
    Глаза — как звезда Чулпан[1].
Не брани меня: «Вот глупый,
Много наговорил».
Я кричал так громко,
Чтобы не было так больно...

Подумать только! Из-за этой учительницы брату Мустафе так больно. Миргасим лёг на живот и, не поднимая головы, пополз на помощь своему брату. А та, злая волшебница, разве могла знать, что идёт на неё сам Камыр-батыр? Зубы у него железные, когти медные. Движется он неслышно, сам невидим, но сильней его нет никого. «Потерпи немного, любимый брат, я иду к тебе!»

Брат Мустафа, пропев песню, замолчал, только пальцы его продолжали разговор с гармоникой. Фатыма-апа тоже молчала. Она перекинула со спины на грудь левую косу и то расплетала, то заплетала её.

Мустафа поглядел на учительницу, и опять полилась песня:

Занозил я сердце,—
И пою не для славы,
Но оттого, что
Сердце по тебе горит.

Сердце она ему занозила, этого ещё не хватало! Миргасим поднялся во весь свой богатырский рост и богатырским голосом загремел так тихо, что сам себя не услышал:

— Фатыма-апа, почему вы другую косу не заплетаете?

Она, будто пчела её ужалила, отпрянула, схватилась руками за щёки — они у неё как огонь покраснели. А брат

[1] Чулпа́н — Венера.

Мустафа бросился на Миргасима словно тигр да вдруг как захохочет:

— Почему живот и щёки такие зелёные?

— Потому что я к тебе по траве змеёй полз...

Фатыма-апа налила чаю в блюдце, глянула на Миргасима. И вдруг улыбнулась. Может, и она сейчас, пока пьёт чай, о тех облаках, о реке вспоминает?

Чаю попила, картошки поела, бабушку поблагодарила. Встала, взяла свою сумку, перекинула ремень через плечо.

— Миргасим, скажи Асие, завтра принесу ей говорящую посылку,— сказала, засмеялась, и нет её. Ушла.

Глава пятнадцатая

ГОВОРЯЩАЯ ПОСЫЛКА И ЗВЕЗДА ЧУЛПАН

Как ни долга ночь, она кончается, в белом утреннем небе заря занимается.

«Му-о-о!» — грозно затрубил бык.

«М-му-у...» — застонали коровы.

Будто нескончаемая пёстрая река, потекло стадо по деревенской улице. Позади коров — козы, за козами — овцы.

Но можно ли сравнить это пёстрое бестолковое стадо с гусями? Они идут строем, шагают, будто солдаты на параде.

У работничков наших, у помощников, в руках палки, хворостины. Миргасим заткнул за пояс ремённый кнут.

Звонко щёлкнул бич пастуха, Миргасим тут же взмахнул кнутом, хотел было сказать «я его перещёлкаю», да гуси как завопят:

«Га-га-га!»

А вожак вытянул шею, захлопал крыльями и зашипел до того сердито, что Миргасим поспешил кнут свой обратно за пояс заткнуть.

До сих пор гуси ходили где вздумается. То клюют зерно на току, то долбят овощи на огороде, то пасутся в овсах. Вот и поручили Миргасиму и его друзьям выгнать гусей на луг

и пасти строго, чтобы с пастбища гуси никуда не отлучались, о набегах разбойничьих позабыли.

Идут гуси под присмотром пастушат мимо колючего, только вчера сжатого поля, шагают мимо белой, ещё не тронутой комбайном полосы доспевающей пшеницы.

Весной говорила бабушка Миргасиму: «Выйди в поле, послушай, какой под снегом звон. Это своими острыми сабельками пробиваются из-под снега к свету озимые зеленя». Теперь, когда Миргасим смотрит на нескошенную полосу, ему чудится густой, низкий гул колосьев, склонённых под тяжестью зерна.

А луг ещё совсем зелёный, только цветы на нём не жёлтые, не белые, как весной, а лиловые и трава жёсткая, старая. Как усердно щиплют гуси траву, не хуже лошади!

Миргасим лёг на землю, подперев ладонями подбородок, и смотрит на гусей с таким удивлением, будто до этого никогда их и не видывал. Как похожи на змей их длинные шеи, какие широкие у них крылья!..

Вдруг Миргасим вспомнил. Говорящая посылка!

И пастушата побежали навстречу Фатыме-апа.

Вчера, когда Миргасим про посылку сказал, Асия не поверила, а сегодня глядите: стоит на дороге. Рядом с нею Шакире и Наиля.

Еще не показалась из-за поворота красная косынка Фатымы-апа, а голос посылки был уже слышен. Радостный, отрывистый и в то же время какой-то детский.

Вот и сама апа. На ремне, как всегда, почтовая сумка, а в руке на этот раз корзинка. Из неё выглядывает весёлая разрисованная мордочка с двумя торчащими ушками. Оба уха стоят как чёрные стрелы.

— Починили щенка в больнице, починили! — обрадовался Миргасим.— И уши подровняли!

Ребята подхватили корзинку, опустили на землю. Щенок лаял, выставив передние лапы, но ещё не смея выскочить на траву. Он лаял не заливисто, как взрослые собаки, а мелко, тонко, будто ещё только учился говорить.

— Он тебя, Миргасим, боится,— сказала Асия.— Ты для чего тут бичом своим щёлкаешь?

Миргасим отбросил бич:



— Выходи, малыш, не бойся, здесь все свои.

И щенок выбрался из кошёлки, отряхнулся, потянулся, завилял хвостом.

— Какой он чистый, пушистый!

— Настоящий медвежонок!

— Смотрите, какие у него глаза весёлые. Они же у него смеются и сам он улыбается!

— Где он будет жить? — спросил Миргасим и схватился за шляпу.

«Нет, теперь щенка в шляпу не упрячешь, раздобрел на больничных хлебах».

— Щенок, иди, я покажу тебе твоё жилище,— позвала Асия.

У самой ограды колхозного сада стоял дом — высокий, Миргасиму по плечи. Тесовая крыша, круглое окошко и дверь, настоящая, на железных петлях, и засов есть, всё как положено.

— Сначала куклы мои жили здесь,— сказала Асия,— потом они в сундук эвакуировались.

Перед домом — корытце и ведро. Асия налила в него свежей воды, в корытце положила кашу.

Но щенок на угощение и не посмотрел, подбежал к ближайшему деревцу, поднял заднюю лапу и полил его.

Ребята засмеялись, а щенок обернулся, щёки сморщил, хвост поджал, глаза стали злыми. Он оскалился и зарычал басом.

— Вот это пёс! — сказал Миргасим.— В обиду себя не даст.

— Злой, как его хозяйка,— прибавил Фаим.

Асия стукнула задиру кулаком по спине:

— Хватит на сегодня или ещё добавить?

— Чем драться, лучше бы имя своей собаке придумала.

И все наперебой стали предлагать имена:

— Репей!

— Отважный!

— Шайтан!

— Милый ты мой! — погладила щенка Асия.— Глаза твои на утренние звёзды похожи.

— Назовём щенка Юлдуз — звезда,— подхватила Шакире.

«Глаза твои — как звезда Чулпан»,— вспомнил Миргасим и вдруг опечалился. Взглянул на Фатыму-апа. Она стояла, подняв лицо к небу, смотрела на лёгкое, словно перо, белое облако, которое тихо таяло в синеве. А руки Фатымы-апа расплетали и снова заплетали всё ту же непослушную левую косу.

— Давайте назовём собаку Чулпан! — сказал Миргасим, не сводя взора с тёмной, разделённой на три струйки пряди искрящихся на солнце волос.

— Правильно, хорошо: Чулпан, Чулпан! — подхватили все.

И только Фатыма-апа молчала.

— Звезда Чулпан,— уточнил Миргасим и снова посмотрел на Фатыму-апа.

Она покраснела, отвернулась.

Ах, как хотел бы Миргасим сказать ей:

«Когда брат мой пел вам: «Глаза твои — как звезда Чулпан», почему вы не ответили ему, почему не спели: «Хоть я не слепа и вижу других во всей красе, сердце моё не лежит ни к кому, кроме тебя». Все наши девушки так поют,

если парень по душе, а вы брату моему ни одной песни никогда не спели. Почему?»

Он смотрел на приунывшую, поникшую Фатыму-апа, и вспомнилось ему то утро, когда Мустафа прощался с ней.

Небо ещё только чуть-чуть побелело. Мустафа и Фатыма-апа вышли в степь. Трава, как серебром, была подёрнута росой, и шаги их оставляли тёмные следы на росе. Миргасим шёл позади. Они не замечали его. Между росистой травой и белым небом легла тонкой сверкающей лентой узкая полоса зари.

«Дарю тебе эту росу,— сказал Мустафа Фатыме-апа,— дарю тебе это небо...»

А небо уже пылало, охваченное огнём широко разлившейся зари. И береговые ласточки повылетали из своих тёмных гнёзд-пещерок и закричали пронзительно, будто и в самом деле случился пожар. Вода в реке очищалась от пелены тумана, стрижи стлались над водой, по своей всегдашней привычке, так низко, что Миргасиму казалось, будто скользят они по воде на своём отражении. Ах, так бы и самому хотелось расскользиться, поплыть, да нельзя — брат увидит, рассердится.

А был в то утро Мустафа печален и пел Фатыме-апа горькую песню:

Зачем ты долго думаешь?
Если хочешь полюбить,
Полюби скорее.

Миргасим поднял голову, взглянул на небо. Нет, совсем-совсем оно теперь другое. Ярко-синее, какое бывает перед осенью в самом конце лета.

Лёгкое, как гусиный пух, облако растаяло в густой синеве. Апа вздохнула.

«Тогда надо было вздыхать, не теперь!» — рассердился Миргасим и запел ей назло:

Глаза твои — как звезда Чулпан...

— Чулпан не звезда,— рассердилась и она тоже,—

Чулпан, как наша Земля, планета. Вокруг нашего Солнца ходит. Мы из одной семьи.

— Там, на той планете, тоже война? — спросил Миргасим.

— Кто знает? — отозвалась апа.— Вот гляжу ночью на небо и думаю: как там, среди звёзд, на других планетах, неужели убивают?

Заговорили о звёздах, о войне. И Фатыма-апа почувствовала, как оттягивает плечо, как тяжела кожаная почтовая сумка, набитая газетами. Известия в газетах невесёлые. А письма? Ох, есть и сегодня эти страшные конверты. Конверты с адресом, отпечатанным на пишущей машинке. Четыре письма в соседние деревни, одно — по здешнему адресу.

Апа простилась с Чулпаном, лапу его мохнатую в своей руке подержала, за ухом ему почесала и пошла.

«Ох, письмо, письмо, как отдать его?»

Девочки поспешили за Фатымой-апа. Она доверяла им разносить газеты, иногда позволяла разобрать почту.

Миргасиму уже наскучил щенок.

— Вы как хотите, а я домой. Вдруг письмо?

Глядя на него, сорвались Темирша и Фарагат.

— А я останусь,— сказал Фаим.— Кто мне письмо напишет? Нет у меня никого на свете.

— Как это никого? А твой дядя Саран?

— Да, дядя мой шибко грамотный. Каждый день письма пишет: «Кормлю Фаима, прошу выдать аванс на трудодни и пособие на сироту».

— И выдают?

— Вот ещё! Что у нас, хлеба нет?

— Для чего же пишет?

— Говорит: «Просить не запрещается».

Между тем Чулпан поел, попил и заскулил тонким голосом.

— Пищит, как маленькая птичка,— сказал Фаим и положил щенка в домик.

— Пойдём, Фаим. Если мой отец письмо прислал, там для всей деревни и для тебя тоже поклон будет. Идём!

Фаим рванулся было за Миргасимом, но потом сел на землю у собачьего домика:

— Сначала гусей бросили, теперь Чулпана? Нет, я останусь, буду сторожить.

— А мы побежали!

— Эй,— крикнул Фаим вдогонку,— если поклон для меня будет, сюда обратно бегите, мне скажите!

Миргасим и не обернулся. Он так спешил, что о биче своём пастушьем позабыл, наступил на него и не хватился, даже не заметил.

Глава шестнадцатая

ПИСЬМО

«Можно ли звёзды небесные в кулак собрать? — говорил, бывало, Миргасимов дедушка.— Так и наши дети — рассыпались повсюду. Зато будут у нас с тобой, мать, весёлые похороны — со всех концов земли кровные наши хоронить приедут».

«Нет, не приехали, когда ты ушёл от нас,— вздыхает бабушка.— Прости меня, старик, я виновата. Метели были, холод. Детей наших, внуков я пожалела. Весть печальную только весной им отправила... Эх, старик, старик, тебя нет, а я живу! Старому человеку умереть — как плоду зрелому с ветки упасть. А вот молодые жизни когда обрываются безо времени, с этим смириться никак нельзя. Ох, война, война!..»

Пригорюнилась бабушка. Большая семья была, где теперь все?

Сражаются бабушкины дети, внуки и на Северном фронте, и на Западном. Какой ещё есть у нас фронт? Да, под Москвой...

Бабушка уже и картошку сварила, и чайник в золу поставила, чтобы не остыл. «Почему Фатыма не идёт? Ну ладно, писем нет, а газеты? Что случилось там, на войне?»

Вдруг, громко хлопнув дверью, влетел в комнату Миргасим:

— Обогнал я девчонок, обогнал!

И тут же ворвались запыхавшиеся девочки — Шакире, Наиля, Асия:

— Фатыму-апа мы обогнали!

А вот и она, письмоносец. Входит, улыбается, но бабушку улыбкой не обманешь.

— Почему, дочка, на тебе лица нет?

— Вам, бабушка, письмо не пришло ещё, вам пока только пишут.

Наиля и Шакире принялись разбирать газеты — спорили, кому нести новости в полевые бригады, кому огородникам, кому на фермы.

Но Асия сегодня и не смотрит на газеты, она глядит на Фатыму-апа. Неужели извещение? Кому же? Не вытерпела, заглянула в сумку и вдруг высыпала письма на стол.

У Миргасима глаза разгорелись. Эх, если бы и его к столу пустили! Может, и сам он подошёл бы, да вот беда — читать не умеет! Но почему Асия так побелела? Зачем ладонью закрыла такой красивый конверт?

— Что такое? — чуть слышно спросила бабушка.

— Письмо. Мне.

— Читай, читай! — воскликнули девочки.

Асия опустила глаза, отвернулась:

— Прочитаю, когда захочу.

— Почему газеты людям не относите? — строго сказала бабушка.

Шакире и Наиля взяли газеты, ушли. Но дверь за ними не успела затвориться, как в комнату вбежал Абдул-Гани:

— Наиля где?

— Газеты носит,— ответила бабушка.

— Фатыма-апа, мама спрашивает, нам почта есть?

— Нет! — отозвалась Асия.

— Миргасим,— вдруг схватился за свою рыжую голову Абдул-Гани,— Миргасим! Мы забыли о гусях...

И мальчики побежали на речку. Асия посмотрела им вслед, опустилась на стул и заплакала.

— Бабушка,— сказала Фатыма-апа,— Насыровым извещение. Погиб. Смертью... смертью храбрых. Асия письмо спрятала.

— Правильно Асия поступила. И ты помолчи. Никому не говори. Я сама скажу.

— Бабушка,— со слезами сказала Фатыма-апа,— бабуш-

ка! Больше не могу! Как увижу такой конверт — сердце горит. Стыдно мне тут, в тылу, жить. Живу, как на другой планете. В городе Ленинграде даже дети, старики взялись за оружие, пошли в народное ополчение. Женщины семейные, врачи, медсёстры на фронте. Я тоже хочу на фронт. Пойду запишусь добровольцем. Куда пошлют — согласна, что прикажут — сделаю. Буду солдатам портянки стирать, раны обмывать. Ружьё доверят — могу стрелять. Что прикажут, всё исполню. Но тут, в деревне, не могу, бабушка, больше не могу!

— Ты о детях наших подумала? В школу вместо тебя меня поставим, да? Стыдись! Дезертиром хочешь быть? Сегодня ты здесь нужна, учительница.

Фатыма-апа поднялась, перекинула через плечо сумку и пошла разносить письма. Треугольнички и конверты. В нашу деревню и в соседние.

А дверь? Думаете, наконец-то отдохнула? Нет. Снова отворилась, хоть и не закрывай её вовсе. На этот раз заглянул сюда Зуфер:

— Нам что-нибудь есть?

— Слава аллаху, ничего нет...

— Что с тобой, Асия?

— Голова болит.

— Бабушка, я сбегаю в соседнюю деревню за фельдшером.

— Если надо будет, Абдракип-бабай сам внучку свою в больницу повезёт. Там лучше знают.

— Но фельдшер ближе. Может быть, ей и не надо в больницу...

— Двенадцать детей у меня было, всех выходила. Учить меня хочешь? Иди маме скажи — писем нет.

Из окна было видно, как шагает Зуфер, плечистый, большой. Старший мужчина в доме.

И только теперь Асия дала волю слезам...

— В жизни и смерти мы не властны, ласточка моя,— молвила бабушка.— Давай я тебе косы заплету, растрепались. Помни, милая: ушедшие с нами, пока мы думаем о них. Дядю Насыра разве забудем? Ведро колодезное кто сковал? Цепь к нему кто устроил? Черпнём воды — и вспомним. Глот-

нём — и опять добрым словом помянем. Да и на детей его кто взглянет, улыбнётся — все в отца: золотоголовые.

После этих слов Асия ещё горше заплакала:

— Абдулу-Гани, Наиле я солгала.

— Доброе дело ты сделала, о такой беде людям поведать надо умеючи. Я сама скажу, сама... Письмо ты спрятала? Хорошо поступила. Можно ли позволить, чтобы Абдул-Гани или Наиля своими руками такое письмо домой принесли? Нет, лучше сама туда пойду, сама скажу. И поможет мне председатель наш дядя Рустям. Он на войне был и смерть видел совсем близко. Ногу ему раздробило, а могло ведь в голову или в сердце попасть. Кто же, если не он, найдёт доброе, верное слово?.. Ну, вот и заплетены твои косички. Гляди, какие стали они длинные! Мама приедет, глазам не поверит, большая выросла дочка. Городским детям воздух наш на пользу. Садись, поешь катыка с каймаком. В Москве такой еды нет, верно? Такой катык вкусный только в нашей деревне делают. Я молодая в Казани жила, но катык тамошний против нашего никуда не годится... Поела? Вот умница! Иди щенка своего проведай. Вот и ему я налью в чашку, угости его.

И только когда девочка с чашкой катыка ушла, бабушка опустилась на сэке, спрятала лицо в ладони, зашептала чуть слышно:

— О Насыр, Насыр, тысячу раз умереть бы мне за тебя!..

Глава семнадцатая

ГУСЕЙ ПАСТИ — ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ

Прибежали мальчики на пастбище — гусей нет! Неужели на огородах? Повернули туда и ещё издали среди бело-голубых, словно скрученных из жести кочанов увидали длинные, изгибающиеся по-змеиному шеи, услыхали гусиное: «Га-га!»

Гуси своими жёсткими клювами долбили упругие кочаны. Темирша и Фарагат размахивали хворостинами, кричали, но гуси только шипели в ответ, переходя с одной борозды на другую.

Вот когда пригодился бы кнут, да ведь Миргасим бросил его у щенячьей будки, а поднять забыл.

— Держись, ребята! — крикнул Миргасим и побежал наперерез гусям.

Большой гусак крыльями захлопал, залопотал и, тяжело шлёпая красными лапами, ринулся навстречу. Подобно змеиному жалу, торчал из разинутого клюва язык, шея вытянулась, казалось, она росла.

Абдулу-Гани посчастливилось: попалась под ноги кем-то брошенная палка, он поднял её, но гусак даже замахнуться не дал, вцепился клювом в подол рубахи, вырвал клок и полез щипаться. Миргасим бросился выручать приятеля, гусак долбанул и его, прямо в лоб, да так сильно, что мальчик чуть не упал.

Всё же пастушатам, всем четверым вместе, удалось спасти колхозную капусту. Отогнали гусей! Грозно хлопая крыльями, гусак повёл своё стадо на огород Сарана-абзея. И репа тоже, оказывается, гусям по вкусу пришлась, знаменитая крупная, белая, сладкая репа, гордость Сарана-абзея.

— Разве это гуси? — возмущался Миргасим, потирая шишку на лбу.— Оборотни это, злые духи!

Огород Сарана-абзея ребята защищают не так старательно.

— Надо же и гусям где-то пообедать,— решил Фарагат,— я и сам проголодался.

Он вытащил из-за пазухи лепёшки, завёрнутые в клеёнку. У Абдула-Гани в карманах были крутые яйца, у Темирши лук и соль.

А Миргасим что мог в запас взять? Картошку, варенную в кожуре. Да, в этом году два человека из их семьи на войну ушли. Что поделаешь? Мама шлёт и шлёт на адрес полевой почты письма, посылки с печеньем, с маслом. «Не моим, так другим достанется, там все они наши, все свои,— говорит мама.— Дома нам довольно и картошки».

Ребята поделили всю еду поровну, поели.

Гуси тоже наелись и, волоча по траве сытые животы, поплелись вперевалку к реке.

Весною гусята были жёлтые, пушистые, а теперь с виду,

пожалуй, не сразу отличишь, где дети, где родители. Все серые, все белые, все большие. Есть и такие, что родителей своих переросли — ноги сильнее, шея длиннее,— а всё же они пока ещё только дети. Старики важно так шагают. Идут и ворчат:

«Га-га-га, левая нога, правая нога! Гу-гу-гу, в ногу, в ног-гу!»

А молодые тонкими голосами щебечут:

«Да-да-да, да-да... И-иду, и-иду, ид-ду...»

— Главного я к реке не пущу,— сказал Абдул-Гани.— Зачем со мной дрался?

Снял с плетня верёвку, размахнулся, и защёлкала верёвка не хуже ремённого бича.

— Не пущу, не пущу! — повторял Абдул-Гани, щёлкая верёвкой.

Гуси пошумели, пошипели, покричали и вдруг распахнули крылья, оторвались от земли, полетели!

Эх, обидно, что пастушата летать ещё не научились!

Летели гуси, летели и на воду сели, поплыли. Гусак впереди всех.

— Уплывут они теперь в другую деревню, уплывут...— заплакал Фарагат.

Абдул-Гани завязал конец верёвки петлей:

— Я этого атамана ихнего поймаю и посажу под корзину.

Корзина, сплетённая из ивовых прутьев, круглая, новая, валялась на грядке с репой. Эту большую корзину ребята подтащили к берегу.

— Клетка готова,— засмеялся Миргасим,— осталось птичку поймать.

— Б-бросай, брос-сай петлю ему на-на шею! — заикался от волнения длинный Темирша.— Т-только о-ос-сторожней, смотри не покалечь.

— Он может драться, а мы нет? — рассердился Абдул-Гани.— Раз, и всё. Бросаю петлю!

Как сказал, так и сделал — поймал петлей и потащил к берегу. Гусь, отбиваясь, чуть не свернул себе шею. Одолели всё же ребята, накрыли гусака корзинкой.

— Мы победили! — воскликнул Миргасим.

«Му-о-о!» — отозвался колхозный бык.



«Му-му!» — откликнулись коровы.

Стадо возвращалось в деревню.

Гуси вышли из воды, построились и потопали друг за другом по порядку, позади овец.

«М-му-ооо-иии!»

Услыхав воинственный клич быка, пленный гусак выскочил из-под корзины и тоже занял своё место в строю. А корзина покатилась к реке и, зацепившись за ветку, повисла над самой водой.

Пастушата шагали позади гусей.

— Где же наш Фаим? — вспомнил Темирша.

— Сторожит Чулпана.

— Пойдёмте и мы Чулпана проведаем. Гуси домой сами придут.

— У меня лепёшка осталась запасная,— признался Фарагат,— мы щенка угостим.

— Нет, давай угостим Фаима.

Когда подошли к колхозному саду, небо было уже совсем серое, седое. Солнце садилось в тучу, и края её горели, будто там, позади, кипело сражение и полыхало пламя битвы.

Далеко-далеко в степи приказывала своим детям перепёлочка:

«Спать-спать-спать...»

«Пить-пить-пить!» — просили они.

«Спать-спать-спать...»

Глава восемнадцатая

КРУГ СВЕТА В ТЁМНОЙ НОЧИ

Воробьи облепили кусты и берёзку у ограды колхозного сада. Когда ребята подошли поближе, воробьи, шумно хлопая крыльями, сорвались с веток, покружили стайкой и вновь опустились каждый на своё место.

— Фаим! — позвал Абдул-Гани.

В ответ заскулил запертый в своём собственном доме щенок. Его выпустили, и он ластился, вилял хвостом, становился на задние лапы и падал, пытаясь поймать на лету куски лепёшки. Но не ел, а шалил, затаптывал еду. Значит, сыт. Значит, кормили не так давно.

— Фаим! Асия!

Нет ответа.

— Бабай, баба-а-ай! Дедушка Абдраки-и-ип!

Но и дедушка не отозвался. Что случилось?

А Чулпан что-то лепетал на своём собачьем языке, требовал внимания. Может, он что и знает? Может, рассказать хочет? Но ребята собачьему языку не обучались. А жаль, собаки-то нас хорошо понимают и не только слова угадывают, но даже мысли. А мы не всегда умеем угадать, о чём думает, что говорит собака.

Наговорившись, наигравшись, Чулпан сам попросился в свой дом.

— Пора и нам домой,— сказал Фарагат,— моя мама на ужин такой вкусный бламык[1] готовит... Есть хочется...

[1] Бламы́к — болтушка из муки.

Миргасим подобрал свой бич и пошёл обратно в деревню. Возвращались ребята усталые, сердитые.

— Ох, не могу так быстро идти! — ныл Фарагат.

— А ты попробуй взмахни крыльями и полети,— предложил Миргасим.

— Ложись на пузо и катись,— подхватил Абдул-Гани.

— К-кув-ырком ка-катись, с-сам не заметишь, как д-домой п-прикатишься,— добавил Темирша.

— Почему огня не видно? — удивился Миргасим, подходя к дому.

— И у нас тоже темно.

Что такое? Голосов людских не слышно, не звенят подойники, не шумят самовары. Словно вымерла вся деревня.

— Анкей, эби! Мама, бабушка! — крикнул Миргасим.

Никто не отозвался. Внезапно на дальнем конце улицы, у дома председателя, ярко вспыхнула керосиновая лампа-«молния».

— Глядите,— обрадовался Миргасим,— у дома дяди Рустяма народу полно!

От света лампы небо стало ещё темнее, а люди в толпе казались совсем чёрными. Лампа сияла на скамье, вровень с крыльцом, и оно было чётко очерчено кру́гом света. В этом круге стоял председатель, опираясь на костыли, и Миргасиму были хорошо видны стёртые кожаные заплаты под мышками, пришитые к выцветшей военной гимнастёрке.

— Ты не одна, Карима,— сказал председатель.

Карима? Так зовут мать Абдула-Гани.

Миргасим сжимает руку друга. Рука дрожит. Что это? Почему вдруг стало так холодно?

— Мы скорбим вместе с тобой, Карима,— говорит председатель,— твоё горе — наше горе. Письмо, которое тебе пришло, пусть люди услышат.

Он поднял вверх конверт, вынул письмо и прочитал вслух:

— «Здравствуйте, дорогая Карима Гарифовна, здравствуйте, дети, Зианша, Наиля, Абдул-Гани! Печальную весть несёт вам наше письмо. Ваш муж и отец, наш общий любимец сержант Насыр Насыров, шестнадцатого августа тысяча девятьсот сорок первого года в бою с немецкими

оккупантами пал смертью храбрых. Он честно выполнил свой долг перед Родиной и всем советским народом. Мы все, его однополчане, уважали его за весёлость, за доброту, за верность в бою, личную отвагу и бесстрашие. Он беспощадно мстил фашистским гадам за все их злодеяния, которые они творили и творят на нашей земле и которые пришлось нам видеть своими глазами. За проявленное геройство в боях с врагами, за мужество он представлен к награде (посмертно). Мы не забудем и не простим врагу. Примите, дорогая нам семья нашего товарища Насыра Насырова, глубокое сочувствие в тяжёлом вашем горе. Мы отомстим. Клянёмся его памятью».

Миргасим всё ещё дрожал мелкой дрожью. Было так тихо, что он явственно услыхал, как потрескивает в лампе фитиль.

Председатель Рустям бережно сложил письмо, спрятал в конверт.

— Это письмо мы сохраним навечно в несгораемом шкафу,— сказал он.— Пусть и внуки и правнуки знают — жил в нашем колхозе доблестный человек и будет в нашей памяти всегда жить. Он жил для живых и жизнь свою отдал для того, чтобы мы жили. И жить нам следует так, чтобы он порадовался, если бы мог видеть нас.

Председатель помолчал. Потом поднял голову, сказал:

— В память о Насыре Алтын-баше, о Насыре Золотой Голове я даю на постройку самолёта все свои сбережения.

Он вынул из кармана гимнастёрки самописку, обозначил на листе бумаги цифру — сколько денег вносит.

— Мы тоже подпишемся! — послышались голоса.

Люди потянулись к скамье, где стояла лампа и где в её свете ярко белел подписной лист.

— Всей деревней сложимся. Пошлём, пошлём на фронт в память о Насыре свой собственный самолёт. Обязательно пошлём.

— Ай-вай-вай! — вдруг раздался не то стон, не то плач, и откуда-то из тьмы выполз на крыльцо Саран-абзей.

— А за репу мою, репу белую, сладкую, что гуси потравили, кто мне заплатит?

Люди шарахнулись от него. Он стоял один на свету,

длинный, чёрный, в бархатной шапке, словно гусеница.

— И ещё корзину мою круглую чуть не утопили, и пеньковую верёвку.— Он вытащил из-за пазухи эту верёвку: — вот!

Когда он замолчал, Миргасим услышал стук своего сердца. Никто даже не вздохнул.

И вдруг тишину прорезал голос, молодой, сильный,— голос Миргасимова брата Зуфера:

— Эй, старик! Уходи отсюда вместе со своей пеньковой верёвкой!

— Человек с коротким умом обладает длинным языком,— возразил Саран-абзей, спрятал верёвку в карман, спустился с крыльца и словно исчез, растворился во тьме.

Глава девятнадцатая

СОБСТВЕННОСТЬ

Ох, как о репе, что гуси побили, Саран-абзей горевал! Прослезился даже. Однако Миргасима и Фаима-сироту слёзы эти не разжалобили.

Притаившись, глядели мальчики, как Саран-абзей, горько причитая, собрал битую репу, всю до единой, в мешок, взвалил себе на закорки и, сгибаясь под тяжестью, поплёлся к проезжей дороге.

Мальчики последовали за ним. Он не замечал их, шёл, не оглядывался, спешил к повороту дороги, туда, где сегодня должны были ехать несколько семей беженцев. Их эвакуировали из родных мест, спасли от фашистов. Направили сюда, в одно дальнее село нашего района. Там для них было жильё приготовлено, хлеб.

В дороге беженцы — старики, женщины, дети — наголодались, нагоревались. Сидели на телегах молча, даже дети не шумели. Должно быть, эти последние километры пути казались им особенно долгими.

И вот вдруг навстречу обозу выходит наш скупой. Высыпал он репу из мешка на обочину дороги и говорит:

— Денег не надо. Меняю на шурум-бурум.

Беженцы собрали что у кого было — спички, носовой платок, перламутровые пуговицы...

Ребятишки обрадовались репе и не посмотрели, что она битая, так и впились зубами.

Миргасим рассмеялся.

— Чего ты?! — возмутился Фаим.— Плакать хочется, на них глядя, а ты смеёшься.

— Да ты послушай, как смешно они лопочут — «Мамаду, мамаду!»

Фаим, который частенько бывал с дядей в городе Тетюшах на рынке и там научился немного понимать по-русски, возразил:

— Не «мамаду», а «мама, дай! Мама, дай...»

— Ах, так? — насупился Миргасим.— Бежим в правление!

Прибежали и говорят:

— Дядя Рустям, наш Саран-абзей вещи у беженцев отнимает!

Когда старик вернулся, председатель вызвал его к себе, стыдил, уговаривал отдать тем несчастным их скарб.

Но Саран-абзей возразил:

— Ты, Рустям, молод ещё учить меня. Знай, первое правило хозяйственности — это не возвращать того, что попадает тебе в руки. Что ты мне про войну толкуешь? Каждый человек, если есть на то милость божия, может и в военное время сохранить и даже приумножить своё имущество. Ты, если хочешь, корми всех задаром, расточай, а я желаю собирать. Вещь, которую мне дали,— моя собственность, и таковой она останется.

Председатель слушал, слушал да вдруг как стукнет костылём по полу! Даже стены задрожали.

Фаим неслышно выскользнул на улицу, а Миргасим от страха споткнулся, скамью опрокинул и сам растянулся. Дядя Рустям глянул на него, брови чуть ли не к самым вискам подскочили, глаза гневом зажглись:

— Тебе здесь чего надо?

Миргасим не помнит, как у своего крыльца очутился,— выскочил из правления, как из огня!

Семья и соседи давно поужинали и теперь, как обычно, сидели у завалинки, отдыхали, беседовали. Бранили Сарана-

абзея: как это совесть позволила у несчастных людей последнее барахлишко просить? За битую репу!

Но как старик с председателем говорил, этого ещё никто не знал.

— Я сейчас расскажу! — обрадовался Миргасим.

Заскочил в избу и потом выполз оттуда, опираясь на посошок, кряхтя и охая. На голове — высокая бабушкина зимняя бархатная шапка, на ногах — глубокие мамины галоши.

Постучал Миргасим посошком по ступеньке и сказал скрипучим голосом:

— Вещь, которую мне дали, моя и навсегда у меня останется.

Все смеялись: и мама, и бабушка, и Абдракип-бабай, и даже старший мужчина в доме, ценный работник в колхозе Зуфер. Но Асия и не улыбнулась.

Смеяться разучилась она, что ли? Разучишься, пожалуй, если писем нет и нет. Миргасимовой семье тоже письма пока не принесли. Ни одного. Да семья-то у них большая — мама, бабушка, Зуфер, Шакире, овца, гуси... Вместе всё-таки легче, но у Асии только дедушка да щенок, вот и весь народ. Больше нет никого. Поневоле заскучаешь.

Миргасим как увидит, что лицо её затуманилось, сразу начинает божиться:

«Лопнуть мне на этом месте, если завтра письма не получишь!», «Сгореть мне здесь, получишь со следующей почтой!», «Чтоб я тут же, в этой канаве, лопнул!», «Пусть меня разорвёт!», «Чтоб я провалился...».

А письма ей всё нет. Почему же Миргасим не сгорел, не провалился, не лопнул? Потому что хитрый он, очень хитрый — всякий раз клянётся на другом месте. А потом эти места обходит стороной. Скоро ему и погулять будет негде — всё кругом клятвами заминировано. Оступишься нечаянно — и полетишь, взорвёшься или под землю провалишься...

Миргасим поправил бархатную шапку — совсем на глаза она съехала, согнулся, поднял со ступеней половик, свернул и сунул под мышку.

— Первое правило хозяйственности — не возвращать того, что попадает тебе в руки,— изрёк он.

Тут уж и Асия не вытерпела, засмеялась:

— Почём репу продаёшь, Саран-абзей?

— Хочешь, всю репу на его огороде повыдергаю?

— А мы и не знали, что ты у нас такой батыр могучий.

— Надеюсь, ты пошутил, сынок? — вмешалась мама.— Ты не пойдёшь на чужой огород? — Брови сдвинула, посмотрела сурово.

— Огород этот Саран-абзея собственность, да?

Все так и уставились на Миргасима.

— Поглядите на него,— сказал Зуфер,— какой умный, какой учёный!

Мамины брови будто крылья птицы распахнулись, улыбка мелькнула в глазах, они потеплели. Но голос был холодный, строгий:

— Ты ведь не посмеешь хозяйничать на грядках, где сам не работал?

«Сказать «конечно, не посмею» или возразить «посмею?» Нет, уж лучше промолчать, потому что лгать грешно, а хвалиться попусту смешно. Сначала надо выполнить, что задумано, а после будь что будет.

Глава двадцатая

НА ЧУЖОМ ОГОРОДЕ

Настал день, когда Саран-абзей срезал ботву свёклы на своём огороде, срезал зелёные игольчатые листья лука и повёз это на базар. Фаима он оставил дома, сторожить огород и учить стихи из священной книги — Корана.

— Сегодня или никогда! — сказал своим друзьям Миргасим.— Повыдергаем репу и бросим, пусть валяется. Убытку старику не будет: соберёт и понесёт продавать.

— А к-как же Ф-фаим-м? — возразил Темирша.— Ему в-влетит.

— Я учусь, читаю священную книгу,— возразил Фаим,— я ничего не вижу, не слышу.— И запел, подражая дяде: — Нет бога, кроме бога, и Магомет...

— Т-только н-не н-надо чужую р-репу есть,— решил чест-

ный Темирша,— м-мы мст-тит-тели, н-но м-м-мы не в-воры.

С этим все согласились. Дёргали репу, складывали на меже, но не ели. Работали на совесть, только Фарагат не слишком часто сгибал спину и почти не вынимал правой руки из кармана, потому что у него в кармане лежал складной ножичек. Новенький, с двумя лезвиями. Только вчера Фарагат сам, своими руками, наточил их. Ну, если нож в кармане, то просится он в руку, а если нож в руке, как тут не похвалиться остротою лезвий? Фарагат выдернул репину, провёл лезвием по кожуре, и репа, упругая, только что очищенная, с капельками сока, будто сама подскочила к зубам, захрустела...

— До чего же сладкая, сочная! — сказал Фарагат.— Я такой репы в жизни никогда не ел! Кому ещё почистить? Ножик-то мой какой острый! Кто хочет испытать? Таких лезвий в нашей деревне ещё не видывали. Это мне старшая тётя из Казани привезла.

И пошёл ножик по кругу, каждому не терпелось испытать остроту лезвий.

— Острее меча! Лучше бритвы...

А репа, знаменитая белая репа, так и таяла во рту.

— Слаще яблок!

Миргасим стоял у разворошённой грядки и смотрел на груду очисток. Только что здесь весело кустилась зелёная, в мелких складках, в оборках нарядная ботва. Теперь всё смято, затоптано.

Фарагат протянул Миргасиму очищенную репу:

— Попробуй!

Миргасим взял, надкусил, но есть не хотелось, а бросить было почему-то неловко. Он опустил репу в карман.

Фаим тоже не ел:

— Если дядя узнает, что я с вами заодно, он на меня пожалуется аллаху.

— Подумаешь! Что тебе аллах сделает?

— Что дядя прикажет ему, то и будет.

— А нас аллах послушается? — спросил Миргасим.

— В Коране сказано: «Просящий получит».

Миргасим повернулся лицом к востоку, опустился на колени и попросил:



— Аллах, кончай войну!

Все ребята тоже стали на колени и подхватили:

— Аллах, кончай войну! Кончай, кончай!

Как горячо они молились! Почему бог не послушался?

Темирша первый поднялся, посмотрел на огород:

— Ох, ч-что м-мы н-натворили!..

— Ишь когда он спохватился! — сердито сказал Фаим.— Истинное благоразумие состоит в том, чтобы при начале дела предусмотреть его конец,— так мой дядя говорит.

— Сделанного не переделаешь,— отозвался Абдул-Гани,— репу, что повыдергали, обратно в грядки не посадишь.

— Нет, я посажу,— решил Миргасим.

— Д-дум-маешь при-при-приживётся?

— А вдруг?

— Се-сестру м-мою Р-ра-зию в п-пом-мощники не хочешь ли?

Ребята засмеялись и побежали с огорода. Но Миргасим остался.

«А вдруг репа всё-таки приживётся, если её снова в грядки посадить?»

И не такое случалось! Бабушка не напрасно сказывала

сказку о злой мачехе, как дала она сыну варёную крупу и послала его в поле сеять. Думала, не взойдёт ничего на том поле, вот и пожалуется отцу на сына, что лентяй, что надо выгнать его из дома. Но варёная крупа пустила корешки в землю, и взошли зеленя. Потому что мальчик работал честно, старался. Вот и пожалела сироту добрая волшебница.

Миргасим ковырял палкой землю и сажал в ямки репину за репиной. Он так увлёкся, так усердно уминал землю пальцами, что не заметил, когда на огороде появился Саранабзей.

У старика от возмущения язык будто к нёбу прилип. Ни слова не говоря, схватил он усердного работника за шиворот и поволок в деревню.

Глава двадцать первая

У ОКНА

Миргасим сидит в комнате, смотрит в окно. Мелкие брызги осеннего дождя облепили стекло и висят, не скатываясь, не высыхая. Кажется, будто окно паутиной подёрнуто. Сквозь эту паутину дождя смотрит Миргасим на поля, на огороды. Мелкой дрожью дрожит от дождевых капель ботва картофеля, уныло понурили свои тяжёлые головы рослые подсолнухи.

«Скуч-чч-но, скуч-кучно, скучно!» — жалуются мокрые воробьи на стене сарая, под навесом.

Миргасиму тоже скучно-скучно... Кто это показался там вдали, на тропе? Это Карима-апа, вдова кузнеца Насыра. Не сразу её узнаешь. Прежде ходила так, словно пружинки были у неё в пятках. Теперь этого не скажешь, стала тётя Карима другая. На ней старый брезентовый плащ, лица её не видно, голова закрыта капюшоном, шагает сгорбившись.

Чуть свет выходит она теперь из дома, спешит в правление. Там она счетоводом работает. После обеда идёт на ферму — работает конюхом. Лошадей скребёт, конюшни чистит, корма возит.

— Так сердцу легче,— говорит она.

А прежде не то что вилы, но даже лопаты в руки не брала. Насыр-кузнец не допускал.

«Наша мама золотой тюльпан на зелёном стебле,— говорил он детям,— не позволим ей грустить, не дадим увянуть».

Она только за цветами ухаживала да детей обихаживала. Была весёлая, быстрая, как девочка. Любила она создавать уют в своём доме. То скатерть расцветит пёстрыми шелками, весёлыми узорами, то половичок соткёт удивительной красоты, даже ступить на него было боязно. О цветах и говорить не приходится — краше во всей деревне окон не найдёшь. Ни у кого на окнах таких цветов нет.

Но теперь она не шьёт, не вышивает. А на цветы и не смотрит.

— Не могу,— говорит,— домашними делами заниматься, руки опускаются.

— О детях своих подумай,— убеждала её Миргасимова бабушка.

— Если бы не дети, жить не стала бы. Но живу. Насыра нет, а я живу.

— О-о, война, война, что ты натворила...— вздыхала в ответ Миргасимова бабушка.

Посетовала, повздыхала да и пошла жить к Насыровым.

— Оставить Кариму одну никак нельзя.

— Да, невозможно,— согласилась Миргасимова мама.

А Миргасима и не спросили! Может, ему тоже худо без бабушки? А сказал бы, всё равно не стали бы слушать. Разве это справедливо?

И он ещё внимательнее смотрит сквозь заплаканное, всё в каплях дождя, стекло на тётю Кариму, которую мама и бабушка не захотели одну оставить.

Она идёт сквозь дождь, шагает, не глядя под ноги, по мокрой траве, по лужам. А навстречу ей гуси так степенно, важно маршируют. За ними ещё важнее, ещё степеннее выступает Абдул-Гани. Хорошую устроил он себе защиту от дождя: угол мешка засунул в другой угол — получился капюшон.

Карима-апа отдаёт свой плащ сыну, а на себя накидывает сложенный мешок. Поменялись, значит, одёжкой и пошли каждый своей дорогой.

А гуси-то, гуси, как они Абдула-Гани уважают! Никого к себе не подпустят, но услышат свист его хворостины — сами навстречу бегут. Ещё бы! Он теперь начальство — ответственный пастух. Не глядите, что ростом не вышел: трудодни начисляют ему, как большому. Сам председатель, дядя Рустям, своей рукой делает отметки в трудовой книжке гусиного пастуха. Трудовая книжка у семилетнего мальчика? Не верите? Сами посмотрите — вот она, эта книжка: клеёнчатая обложка, белые страницы, чёрные буквы, чёрные линейки, точка в точку как у взрослых колхозников, даже ещё красивее, потому что буквы не напечатаны, а рисованы. Сам председатель дядя Рустям рисовал. Такой красивой книжки не увидишь ни у кого во всей нашей деревне, а может, не сыщешь и в целом свете.

— Если хочешь,— обещал Абдул-Гани другу своему Миргасиму,— моя сестра Наиля тебе такую же нарисует.

Да, Наиля рисовать мастер. Сколько кораблей, пароходов нарисовала она Миргасимовой бабушке! А книжку трудовую нарисовать для Миргасима ей всё недосуг: «Ладно, ладно, как-нибудь выберу минутку, сделаю». И бегом, бегом куда-то! Вот и сейчас тоже бежит, дождя не испугалась. Книжки она собирает. То в одну избу заглянет, то в другую:

— Пожалуйста, подарите, если не жалко, у нас при школе будет БИ-БЛИ-О-ТЕКА. Для всех.

Заскрипело, зазвенело, застучало за окном. Это голос ручной тележки Сарана-абзея. Тележку толкает Фаим, она полным-полна огурцами. Позади тащится сам хозяин. За плечами у него на знаменитой пеньковой верёвке хорошо известная круглая корзина. Там тоже огурцы.

Когда тележка поравнялась с окном, Миргасим забарабанил по стеклу, крикнул:

— Фаим, дай огурец!

Фаим подмигнул, оглянулся на дядю и ответил:

— А тебе известно, почём на рынке огурцы? За один огурец можно три коробка спичек в обмен получить. Вот и сосчитай, если ты хотя бы всего половину огурца съешь, во что это нам станет, какой нам будет убыток!

А сам улыбается. У Фаима смеющиеся зубы, а у дяди лицо кислое, будто уксусом полито.

Далеко на лугу шагает по мокрой траве Фарагат. Ох как блестят его резиновые сапожки! За Фарагатом следует босоногий длинный Темирша, он волочит на верёвке упирающуюся козу, за козой бегут два козлёнка.

Миргасим смотрит на них и смеётся — похожа эта компания на картинку из бабушкиного сундука: бежит по реке маленький пузатый катерок, тянет за собой длинную баржу, а за баржой качаются лодочки.

Но погодите, погодите: почему все ребята на улице, а Миргасим дома? Потому что наказан. За что? За репу. Разве это правильно? Он одну-единую репину надкусил — и наказан. Другие сколько съели, а гуляют. Мама и слушать ничего не захотела.

«Завтра весь день дома сиди»,— приказала.

«Но ведь я не один, все ребята репу дёргали».

«Ты за них не в ответе, за себя отвечаешь».

И вот он отвечает, сидит один-одинёшенек и смотрит в окно.

А дождь сеется, сеется. Резкий порыв ветра бросает в оконное стекло пригоршню брызг. Окно плачет. Небо плачет.

Вдруг Миргасим прильнул носом к стеклу. Он увидал Асию и Шакире. Девочки шли, накрывшись клеёнкой. Вдвоём они несли большую авоську, в авоське — куклы.

А позади девчонок с громким лаем скакал Чулпан. У каждого бревна ему хотелось бы остановиться, да боялся отстать от хозяйки.

Миргасим стукнул в окно, закричал:

— Э-эй, куда побежали?

— ЭВАКУ-ИРУЕМ-СЯ-А-А!..

— Заче-ем?

— Асия от своего дедушки к Насыровым переезжает, ближе к школе.

Асия переезжает, а он тут сидит! Не увидит даже, как Черноушка встретит Чулпана.

«Если они подерутся, кто кого одолеет?»

Как подумал об этом, вскочил даже, сунулся было к двери.

Дверь не заперта, Миргасим не на привязи, почему бы и не убежать? Нет, это невозможно. Вот если бы заперли его, связали, уж нашёл бы он тогда способ вызволить себя из

плена. Но как убежишь, когда дверь не на замке, когда тебе верят? Если сторожа нет, если руки и ноги свободны, бежать нечестно.

Почему, скажите, почему так трудно быть хорошим, а быть плохим легко?

Жизнь там, за окном, движется, картины меняются, как в кино.

Вот, тяжело опираясь на костыли, шагает председатель. Шаг ногой — два костыля, шаг ногой — опять два костыля, опять нога... Лицо бледное... Ой, один костыль поскользнулся, ох! Нет, не упал дядя Рустям! Удержался, дальше идёт.

Серая пелена за окном поредела, и сквозь неё проглянуло мокрое свежее небо. Дождь прошёл, и воробьи, выскочив из-под застрех и веток, собрались все вместе, чтобы веселее было ссориться.

«Кукареку-у-у-у!» — затрубил петух свою победную песню, и куры осторожно, недоверчиво выглянули из-под навеса.

Сверкнула вдали красная мамина косынка. Эх, у бабушки в это время картошка уже варилась бы и самовар кипел бы!

Миргасим хватает нож, кастрюлю, спички, не знает, за что первое взяться, так сильно хочет он встретить маму готовым ужином. Но поздно он об этом подумал! Шакире уже здесь, собирается ставить самовар. Но и она опоздала. Мама пришла и сама принялась чистить картошку.

— Анкей, прости меня, я не успел, потому что устал очень.

— Устал?! — обожгла его своими тёмными горячими глазищами Шакире.— Чем же это ты был занят? Что натворил?

Никогда, ни с кем она так не разговаривала. Но сегодня очень сердилась, что её брат разорил чужой огород.

— Устал он! Ха-ха-ха!

— Не смейся, дочка. Сама испытай, посиди весь день ничего не делая, тогда узнаешь, легко это или нет,— возразила мама.

Ну, если все улыбаются, значит, никто не сердится. Выскочить бы сейчас на улицу, заглянуть бы к Насыровым... Нет, нельзя. Было сказано: «Сиди дома весь день». Когда день кончится? Когда все уснут? А Чулпан, пожалуй, не уснёт. Каждый вечер Миргасим прибегал к нему, желал спокойной ночи. А сегодня кто пожелает?

— Шакире, почему ты не к нам Чулпана с Асиёй эвакуировала, почему к тёте Кариме?

— Асия сама так захотела.

— К нам, значит, не хочет? Цветов на окнах нет! У тёти Каримы, конечно, лучше. Там и цветы, и Черноушка. Вот обрадуется кошка щенку! Все когти выпустит, пожалуй...

Весь день Миргасим наказанный сидел один-одинёшенек и не грустил. Теперь мама дома и Шакире здесь, почему же ему так грустно? Такая тоска, хоть плачь, хоть реви...

«Может, Асия всё ещё сердится, что чужой называл? Так это когда ещё было, летом... Теперь своя ведь она, совсем своя — наша. А вот прийти сюда, жить здесь не захотела. Ну и не надо!»

Тёплой, жёсткой от тяжёлой работы ладонью мама нежно прикасается к щеке Миргасима:

— Не хочешь ли навестить Асию?

— Нет, нет! Но Чулпана я бы навестил.

— Пока ужин варится, ты, сынок, успеешь и с Асиёй повидаться, и с Чулпаном побеседовать. Ступай!

Ну, если вы не знали, какая у Миргасима анкей — мама, то теперь будете знать: второй такой нет. И Миргасим не выбежал, не выскочил, а пулей вылетел из дома.

Оставим теперь Миргасима, пусть он бежит вперёд, а мы вернёмся назад.

Глава двадцать вторая

ШКОЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ

Спина дугой, хвост трубой, глаза как фонари, усы вздрагивают — вот как встретила Чулпана Черноушка. Щенок оскалился, гавкнул басом:

«Гав-гав, ррр!..»

Но Черноушка вдруг как ударит его лапой по щеке! Он взвизгнул тонким голосом и спрятался под стол.

— Ну, этот нашёл своё место, — сказал Абдул-Гани, — а вы, товарищи куклы, чего зеваете? Давайте устраивайтесь!

— Ах, Асия, детка, если бы ты знала, как я любила

играть в куклы! — улыбнулась Карима-апа.— Посадим их на подоконник, хорошо? Здесь, среди цветов, куклам весело будет жить, а соскучатся — выглянут в окошко.

— Асия, что у тебя за пазухой? — спросил Абдул-Гани.— Крыса?

Но это был, оказывается, только маленький пушистый мешочек. Асия надела его на пальцы, и получилась обезьянка. Головой кивает, руками машет.

Абдул-Гани протянул обезьянке руку:

— Здравствуй!

— Здррравствуй, здррравствуй,— ответила обезьяна и схватила Абдула-Гани за палец.

— Ай, она живая, живая! — испугался он.

Все смеялись, но Асия и не улыбнулась.

— Это мне моя мама сшила из старой шапки,— сказала она.

Карима-апа взяла у неё с руки игрушку и посадила на ветку цветущего в ярком горшке деревца. Потом впервые с того дня, как прочитала извещение, она принялась мыть цветы, смахнула опавшие лепестки с подоконника.

— Пойдём, дружок,— обняла Асию и повела за занавеску.

Здесь у стены стоял комод. Карима-апа выдвинула ящик и достала школьное платье — коричневое, с белым воротничком.

— Давай примерим, милая. Не знаю, верно ли я угадала размер, впору ли оно придётся.

Асия хотела было заартачиться, сказать: «Не буду примерять, у меня в Москве есть новое школьное платье, а это уже ношеное, сразу видно!» — но взглянула на славное печальное и доброе лицо Каримы-апа, промолчала и покорно накинула платье.

— Спасибо...

А Карима-апа, словно вдруг позабыв о девочке, смотрела на фотографию в кованой железной рамке, висевшей над кроватью. На фото улыбался молодой парень, плечистый, скуластый, в остроконечном шлеме со звездой. А рядом — девушка, тоненькая, длиннокосая. Асия сразу узнала в этой девушке Кариму-апа, такая же она и теперь тонкая, строй-

ная, такие же светлые косы. А парень, должно быть, Насыр Алтын-баш, Насыр Золотая Голова.

— Да, это мы в день свадьбы,— подтвердила Карима-апа.— Знаешь, кто фотографировал нас? Твой папа. В те годы фотоаппарат был на весь район один-единственный, у доктора в больнице. А твой папа при больнице работал, был мальчиком-конюхом. Ну, и попросил у доктора фотоаппарат на денёк. Вот и осталась о том дне нам на память эта фотография.

— А моя мама где тогда была?

— Твоя мама? Девочка она была деревенская, малограмотная. Потом, конечно, училась, как все...

«Где-то они сейчас, твои родители, детка? Живы ли?» — подумала Карима-апа, но вслух она сказала другое:

— В Москве, должно быть, платья покороче носят. Однако у нас в деревне ребята растут больно скоро, и мы шьём одежду на вырост. Хочешь, я для тебя укорочу немного?

Асия не успела ответить, потому что внезапно хлопнула входная дверь и заворчал, залаял из-под стола Чулпан.

Асия и Карима-апа заглянули в комнату.

— Миргаси-и-им! — захлопала в ладоши Асия.

Чулпан завизжал радостно и кинулся под ноги гостю.

— Ну, здравствуй, что ли,— сердито сказал Миргасим Чулпану.

С Асиёй здороваться он не хотел. Но взглянул на неё, и обида его тотчас растаяла. Такая была Асия тощая, жалкая в своём длинном и широком не по росту школьном платье.

— Ладно, живи тут, если больше нравится.

Она ответила шёпотом, так тихо, что он скорее угадал, чем услышал её слова:

— Да, буду жить здесь. У них нет папы.

Вот она какая! Вот почему к Насыровым пошла. Потому что им плохо.

— Эх, если бы ты была моей сестрой!

— Что тогда?

— Я бы им Шакире отдал, а тебя оставил бы дома.

— Но мы ни за что не отдали бы тебе эту обезьянку,— сказал Абдул-Гани, надел её на пальцы, и обезьянка погрозила Миргасиму рукой, кивнула головой.

Миргасимова бабушка уже и самовар вскипятила, ужин приготовила, но скатерти не расстилала, ждала главного работника — комбайнера Зианшу.

Глава двадцать третья

ЗИАНША

С того дня как пришла чёрная весть, Зианша переменился. Не замечал брата и сестры, не разговаривал с матерью. Казалось ему, читает упрёк в глазах её за то, что, бывало, дичился отца, редко заглядывал в кузницу. Думалось — не к спеху, казалось — успеется. Были дела поважней: спешил Зианша послушать, как трещит весною лёд на реке, торопился увидеть первые тюльпаны в степи. Голоса птиц и зверей он хорошо различал, мог часами сидеть у норки полевой мыши... На всё хватало времени, только с отцом дружить было недосуг.

«Наш доктор», «товарищ профессор» называл Зианшу отец. Выписывал ему книги, журналы. Не жалел денег на приборы, наглядные пособия: «Говори, что тебе для науки требуется, не стесняйся! Знания — богатство, которое в огне не горит, в воде не тонет. Оно всегда при тебе, и чем щедрее будешь дарить его людям, тем больше тебе самому останется. Учись!»

Сколько в доме кузнеца книг! Но жгут они теперь руки Зианши, слабые, никогда не знавшие деревенской работы руки.

Младший братишка, Абдул-Гани, радовался, если отец не выгонял его из кузницы, если просил: «Подай брусок», «Принеси воды». Но Зианша и не заглядывал в кузницу. Всё ему было недосуг — он учился.

Эх, сколько ни горюй, времени того не вернёшь, когда стоило лишь произнести «аткей»[1], и отец откликался, спешил помочь...

Теперь кричи, зови, плачь — не услышит, не откликнется.

[1] Аткéй — папа.

Опостылел Зианше родной дом. Приходил поздно, ужинать со всеми не садился, ел на ходу и шёл на сеновал.

Бабушка Миргасимова, как пришла, всё это переменила. Зианше она сказала:

— Отец твой семью построил, а ты сломать хочешь? Пока ложку в руки не возьмёшь, я к еде не прикоснусь.

Нехотя, с опозданием, а всё же стал приходить Зианша к ужину. Садился угрюмый, ни на кого не глядя.

Сегодня Зианша пришёл, как всегда, весь чёрный, в масле, в мазуте, но глаза ясные, весёлые. И голос непривычный, бодрый:

— Если бы ты знала, мама, как сегодня трактор[1] меня замучил — барахлит и барахлит, а потом вдруг и вовсе отказал. Пока мотор разобрал, семь потов с меня сошло, а тут ещё тракторист ругается: «Не соберёшь обратно, не соберёшь». Но поверишь ли? Собрал! Почти голыми руками... прямо в поле.

И он посмотрел на свои руки. Привычные к перу, к бумаге, они были теперь в ссадинах, трещинах, эти руки, которые превозмогли свою слабость, осилили трудную работу.

Карима-апа подала сыну кусок душистого мыла и вышитое полотенце.

— Что ты, мама, я соломой ототру, керосином, довольно мне и простой тряпки.

— Нет, руки твои вышитого полотенца достойны. Завтра чем хочешь вытирай, а сегодня мы твои руки побалуем, победу твою отметим.

Зианша покраснел, взглянул на бабушку. Она ничего не сказала, только пальцем погрозила. Засмеялся Зианша и пошёл умываться.

— Бабушка, почему ты ему подмигнула? Скажи, какой у вас секрет?

— Секреты выбалтывать ты у нас мастер, а я не умею.

Так и не узнал Миргасим, что было сегодня днём в поле, как Зианша бранился, когда бабушка ему обед принесла — кусок хлеба с солью, зелёный лук, айран[2], варёные яйца.

---

[1] В ту пору самоходных комбайнов ещё не было, комбайн двигался при помощи трактора.

[2] Айра́н — кислый напиток из простокваши и воды.

Зианша в это время стоял у своего комбайна и плакал.

— Гад железный, чтоб тебя чёрт взял! — так он ругал трактор, к которому прицеплен был его комбайн.

Потому что трактор вдруг стал. И хоть убей его — ни с места. Тракторист, такой же, как Зианша, подросток, сидел на скошенной полосе и бормотал:

— Я не из вашей деревни! Вот убегу домой, тогда будешь знать, как ругаться!..

Увидал Зианша бабушку, стыдно ему стало, и потому он ещё сердитее закричал:

— О дьявол!

А бабушка увидала руку Зианши,— видимо, крепко молотком по пальцу хватил: ноготь весь чёрный.

— Э, сынок, конь о четырёх ногах и то спотыкается, а этот, гляди, какая громадина, тоже, должно быть, корму просит.

— Лошадь, ту уговорить можно: валится от усталости, а воз везёт. Но этого убей, ему всё равно, он железный.— И Зианша пнул ногой своего железного коня.

— О комбайнер ты наш, не дело, не дело так себя изводить,— молвила бабушка,— ты устал, проголодался. Поешь немного, и живот твой согреется, голова лёгкая станет. Что-нибудь мы с тобой придумаем, выход найдём. И ты, человек из другой деревни, иди сюда, садись, поешь с нами.

Зианше не до еды было, да ведь и обидеть нельзя Миргасимову бабушку. Откусил разок, другой... Трудно, оказывается, проглотить лишь первый кусок, а потом еда будто сама собой умялась.

— Может, разобрать у трактора мотор? — рассуждал вслух Зианша, навёртывая хлеб с луком и запивая еду айраном.

Поел и принялся за дело. А бабушка сидит, ласково так смотрит.

— Бабушка! — воскликнул вдруг Зианша.— Глядите: вот эта песчинка в маслёнку попала, от неё и вся беда пошла. Если бы не вы, ни за что не догадался бы! Спасибо!

А что молотком по пальцу ударил, он уже и позабыл. Но бабушка не забыла:

— Иди сюда, детка, я руку твою посмотрю

Он протянул руку, она как рванёт палец, как ударит ребром своей руки по вспухшему суставу!

Зианша взвыл даже:

— Ко всем чертям! Убирайтесь!

Но прежде чем он замолчал, боль утихла. Бабушка оторвала полоску от своего головного платка и крепко перевязала ему больной палец.

— Вечером в горячую воду опустим. К твоей свадьбе всё заживёт.

Он молчал, не смея взглянуть на неё.

Разве могла бабушка рассказать всё это Миргасиму? Вообще никому говорить об этом не следовало.

«Когда-нибудь после войны,— думала она,— если живы будем, добрым словом и Зианшу, и того мальчишку из другой деревни, и всех, всех ребятишек наших поблагодарим. «Друзья,— скажу людям,— товарищи, пока вы там, на войне, дрались, кто кормил вас и семьи ваши? Кормили вас дети. Непосильно они работали, а мы, старики, ещё и подгоняли их. Подбадривали не только лаской, но и угрозой. Нам бы пожалеть, сказать бы: «Отдохни, поиграй, поспи». Но мы требовали: «Нельзя лениться, надо работать». Уговаривали: «Ну постарайся, потрудись ещё немного, надо постараться...»

После ужина поцеловала бабушка тётю Кариму:

— Погостила у тебя — и довольно. Теперь есть в доме гости помоложе,— и погладила кукол, которые уже спали на красной подушке.

— Приходите ещё! — просили бабушку Насыровы.

— Придём. Чтоб я пропал, если не придём! — говорил Миргасим, а сам держал бабушку за руку, боялся, что не отпустят её, уговорят остаться.

И вот повёл он свою бабушку домой.

— Всегда, всегда ты бросаешь нас, уходишь... Всех ты любишь, всех! Всё село.

— Как же иначе, Миргасим? Надо мне к людям ходить, помогать им, пока совсем не ушла.

— Куда это — совсем?

— Туда, дружок, откуда не возвращаются. Дедушка твой, уходя, знаешь, о чём печалился?.. «Ах, говорит, Гюльджамал, жена моя верная, сможешь ли ты огород вскопать



соседским сиротам? Я хотел сам это сделать, да со дня на день откладывал. А теперь вижу, уж не придётся мне помочь им. Обещай, жена моя, друг мой Гюльджамал...»

Бабушка замолчала. Миргасим тоже шагал молча, потом сказал:

— Бабушка, а ты и не знаешь! Вчера на мостках я дорогу старшему человеку уступил. Сам по грязи топал, а человек шёл по мосткам. Не веришь? Фатыму-апа спроси, это она была тем человеком.

— Отлично ты поступил, мой внук. Завтра в школу пойдёшь, учеником Фатымы-апа будешь. Смело сможешь в глаза ей смотреть.

Но бабушке в глаза Миргасим сейчас не посмел бы взглянуть.

Хорошо, что теперь рано темнеет и не видит она, как смутился её внук. Ещё бы не смутиться!

Бабушку-то Миргасим обманул, не сознался ей, что, когда

учительница шла по мосткам, сам он нарочно шагал по лужам. Топал, шлёпал по воде босыми ногами, чтобы забрызгать её новые сапожки.

Шлёпал, топал и пел:

Если хочешь полюбить, полюби скорее!!!

Знал бы, что она будет учить не старших ребят, а первоклассников, озорничать не стал бы.

Глава двадцать четвёртая

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Что случилось с Миргасимом?

Всё лето мечтал — скорее бы в школу! Сам сшил сумку для книг, выпросил у Зуфера голубую чернильницу-невыливайку, у Шакире её красивый пенал взял, даже тряпочку, чтобы перо вытирать, и ту припас. Но сегодня, когда настал этот долгожданный день — «первый раз в первый класс»,— Миргасим никак не может собраться. То повесит школьную сумку через плечо, то снимет, на стул положит. То обуется, то опять разуется.

— Ты на свадьбу наряжаешься? — рассердилась бабушка.— Опоздать хочешь?

Пришлось идти. В класс. К Фатыме-апа.

«Вот когда она мне всё припомнит, всё. Как на столбе сидел, как собаку Чулпаном назвал, а ещё как вчера нарочно по грязи шлёпал и песню брата Мустафы пел».

Как ни длинна дорога, она кончается. Миргасим на школьное крыльцо поднимается.

Полы в классе вымыты так чисто, хоть обедай на них.

— Разувайся, разувайся! — крикнули ребята.

У стены рядом с дверью на газете стояла обувь: галоши, ботики, сапоги, брезентовые туфли. Миргасимовы жёлтые башмаки были здесь как два коня в стаде овец. Если прежде кто не успел полюбоваться Миргасимовой обувкой — пожалуйста, глядите, не жалко. Можно и в руках подержать,

и на парту поставить. Но примерить? Нет, никому нельзя. Никогда!

— Это не простые башмаки, их сам своими руками сшил мой дедушка, а был он лучший сапожник во всём свете.

— Рядом с моими поставь их.

— Нет, лучше сюда.

— Здесь им будет хорошо,— сказал Миргасим и поставил башмаки на подоконник.

Как засияли они в свете солнца, в отблесках чисто вымытого оконного стекла! Миргасим и носки свои красные с ног снял, сунул в башмаки, словно по красному цветку в две жёлтые вазы.

— Почему так блестят?

— Салом ты их смазал, что ли?

— Ваксой.

— Чем, чем?

Миргасим только было собрался рассказать о ваксе — в каком коробке, жестяном, плоском, она лежит, как вкусно пахнет,— но тут дверь внезапно отворилась: в класс вошла учительница Фатыма-апа.

И только теперь Миргасим увидел плакат, который висел между окон. Там нарисованная учительница показывает нарисованному ученику, как надо сидеть за партой. У нарисованной учительницы косы подобраны, закручены в узел на затылке.

«Ишь ты,— отмечает про себя Миргасим,— и наша апа косы свои подобрала, причесалась, как та, на плакате».

Разве он виноват, что родился такой глазастый? Только одному Абдулу-Гани сказал о волосах Фатымы-апа, но уже и Фаим, и Темирша, и все, все ребята смотрят то на учительницу свою, то на плакат. Улыбаются, шепчутся...

«Для чего, зачем я сделала причёску? — бранит себя Фатыма-апа.— Ребята всё подмечают, всё. Почему в класс не пришла с косами, как всегда хожу?»

— Здравствуйте,— говорит она.

— А мы на улице уже здоровались,— возражает Фаим.

— Здравствуйте, ребята,— повторяет апа уже построже.

Кто хочет, отвечает ей «Здорово!», кто всё ещё смеётся,

кто молчит разинув рот — уж больно красивое на ней сегодня платье.

— Шерстяное,— шепчет Фаим.— Знаете, почём метр?

— Когда я вхожу в класс, когда входит ваша учительница,— голос у Фатымы-апа окреп, стал строгим,— вы, ученики, должны встать. Когда я, учительница, здороваюсь, вы, ученики, отвечаете стоя, произносите приветствие дружно. Начнём снова: ЗДРАВСТВУЙТЕ!

— Здравствуйте, апа! — стоя отвечают ребята.

Все встали как полагается, а Миргасим поспешил, уронил крышку парты, и она грохнула, как выстрел.

— Садитесь,— приказала апа,— а ты, Миргасим, встань ещё раз и так откинь крышку, чтобы никто тебя не слышал.

«Ну вот, начинается!» — подумал он, но возразить не посмел. Тихо встал. Не шевелясь стоит, на плакат смотрит.

«Глупый, должно быть, тот ученик нарисованный. Глядит на учительницу, а сам будто язык проглотил. Уж я молчать не стал бы, знал бы, что сказать».

А сам молчит. Почему? Потому что живой он, не нарисованный. Тому, на плакате, кого бояться? А Миргасиму боязно: вдруг на него маме пожалуются.

— Хорошо ты, Миргасим, встал, неслышно. Теперь садись.

Миргасим садится.

«А вообще-то лучше всего, оказывается, молчать. Хоть такая, хоть нарисованная, всё-таки обе они учительницы...»

Не успел подумать, как Фатыма-апа снова начала придираться:

— Почему башмаки на подоконнике?

— П-по-тому что он-ни оч-чень кра-сивые,— чуть слышно произносит длинный Темирша.

— Какие бы ни были башмаки, место их на полу. Придётся к этому привыкнуть.

Взяла башмаки, как котят за шиворот, и поставила на пол, на газету. Вместе с носками. А носки чем виноваты? Вот и остался Миргасим совсем босой. А у всех на ногах шерстяные носки, только у него пятки голые.

Фатыма-апа не спрашивает: «Чьи носки? Чьи башмаки?» Сама знает, чья это обувка. Ждёт, должно быть, что Миргасим первый к ней обратится. Никогда! Плохо, что ли,

босому? Лучше всех! Он умеет ногу сжать как кулак, будто руку. Не верите? Смотрите!

Но никто смотреть не хочет. Почему? Потому что учительница показывает, как надо держать карандаш, если хочешь научиться хорошо буквы рисовать.

По очереди подходит она к ученикам:

— Эта палочка у тебя, Абдул-Гани, хорошо получилась — прямая, как игла... О Темирша, ты настоящие оглобли поставил!.. У тебя, Фаим, все палочки будто спать легли.

— Что стоя, что лёжа — цена одна.

— Нет, большая разница. Прямой палочке будет пятёрка, а согнутой — двойка... Фарагат, не облизывай карандаш.

Одному говорит, чтобы не горбился, другому — чтобы не болтал ногами. Так обходит она парту за партой, и вдруг тень её упала на Миргасимову тетрадь. У того точно пчёлы зажужжали в ушах. Ни словечка он не слышит, не понимает. Ноги поджал, даже зажмурился:

«Вот теперь-то мне как следует влетит! Ну для чего я босыми ногами сучил, ребят смешил? — Не поднимая глаз, уткнулся в тетрадь.— Бывают ли на свете шапки-невидимки? А может, и без шапки, просто по слову волшебному станешь невидимым?»

Миргасим знает волшебные слова, однажды у гадалки подслушал, она ходила по избам, гадала. Ей давали деньги, мёд, масло, муку. Она кофейные зёрна рассыплет по столу и шепчет: «Ашенгерби, шууптрахман, гюль-юль-орда...»

— Ашенгерби, шууптрахман...— повторяет он чуть слышно колдовские слова.

— Миргасим, сейчас же замолчи! Сядь прямо. Почему ты смотришь в окно? Ученик должен смотреть на учителя.

Он нехотя взглянул на Фатыму-апа. Глаза их встретились. И вдруг — ну кто бы мог подумать? — лицо, шея, уши учительницы начали краснеть, вспыхнули, запылали.

Ямочка заиграла на правой щеке Миргасима.

— Смотри,— подмигнул он Абдулу-Гани, которому ещё весной под большим секретом поведал, что брат Мустафа целуется с Фатымой-апа.— Эй, взгляни же на учительницу!

Аблул-Гани даже головы не поднял. Насупившись, смотрит он в тетрадь. Карандашом, зажатым в кулак, водит по

странице так усердно, что карандаш не выдержал, сломался.

Абдул-Гани положил его на парту, закусил губу...

Неужели заплачет?

— Апа! — вдруг прозвучал голос Миргасима.

Все оглянулись.

— Апа! Абдулу-Гани надо карандаш заточить.

Учительница послушалась, подошла к Абдулу-Гани, заточила карандаш.

— Миргасим,— шепчет Фарагат, тоже посвящённый в тайну брата Мустафы,— Миргасим, у меня живот заболел, скажи!

— Апа,— говорит Миргасим,— Фарагату надо на двор.

— Иди, Фарагат.

«Опять послушалась»,— сам удивляется Миргасим.

— С-сча-с-стлив-вый эт-тот Миргасим! — заикаясь, шепчет своему соседу Темирша.— Б-брат его М-мустафа на этой учительнице жениться хочет. Я б-бы тоже не поб-боялся, если б-бы б-был у м-меня б-брат...

Палочки, палочки, целый лес палочек! Весь урок ставить палочки? Может, кому-нибудь это нравится?

Пожалуйста! Миргасим людям старательным не мешает — пишите хоть сто штук подряд, хоть двести, жалко, что ли? Но сам он уже не пишет. Надоело.

Молча смотрит на палочки в своей тетради. Смотрел, смотрел и улыбнулся. Знаете, на что эти палки похожи? На зубья бороны, вот на что! Миргасим обводит зубья ломаной линией. И получилась в тетради борона, настоящая борона, хоть сейчас тащи её в поле. А кто её потащит? Лошадь! Лошадей рисовать Миргасим умеет. Наиля научила. Ещё летом. А теперь Миргасим и сам любого научит.

Вот нарисовал он ящик с глазом и двумя ушами, под ним труба, под этой трубой ещё один ящик, побольше, из него выходит хвост с длинными волосами. Волосы красиво, ровно вниз опускаются. Вся сила в хвосте!

Теперь осталось всё это поставить на четыре ноги, и готово — получилась лошадь! Лошадь на четырёх ногах? Это неправильно! Время теперь военное, и пусть лошадь будет на костыле. Три ноги и костыль.

— Лошадь на костылях! — сообщает своему соседу Фарагат.

— О, правда, правда, костыли!

— Дай и мне посмотреть!

Ребята столпились у парты Миргасима, заглядывают в тетрадь, смеются, толкаются.

Фатыма-апа подходит и тоже смотрит. А Миргасим не робеет, поднял голову и пялит на учительницу свои ясные, добрые глаза.

Взгляды их снова встретились.

— Встань! — спокойно произнесла Фатыма-апа.— Встань и выйди из класса.

Миргасим даже не сразу понял, что такое она говорит. И почему все смеются?

— Иди! Слышал? Я с тобой на перемене ещё потолкую.

Кулаки Миргасима сжимаются.

«Не буду у неё учиться! И вовсе не хочу учиться!»

Не оглядываясь, выбегает он из класса.

«Всё брату Мустафе расскажу, не нужна ему такая невеста. Как вернётся с войны, сразу и расскажу».

А что рассказывать? Нет, пожалуй, не расскажешь, стыдно. Все учатся, только Миргасима выгнали из класса.

Глава двадцать пятая

ДЕНЬ ЕЩЁ НЕ КОНЧИЛСЯ

Огорчённый, подавленный, спускается Миргасим со школьного крыльца.

Все будут грамотные, только он один останется тёмный. Все в школе, только он один гуляет.

Нет, не один! Вон идёт девчонка чья-то. Да это Наиля! Куда бы от неё спрятаться? Не спрячешься, поздно.

— Миргаси-им! — кричит она.— Здравствуй!

У неё за спиной мешок с книгами, в руках кошёлки с книгами и ещё две книги зажаты под подбородком.

— О Миргасим! Помоги мне, пожалуйста.

— Куда идёшь?

— В библиотеку.

— Пошли!

Они идут к правлению колхоза. Здесь председатель дядя Рустям предоставил помещение для библиотеки. Шлёпая босыми ногами по коридору, Миргасим входит следом за Наилёй в чулан. Тут совсем темно. Пахнет мышами, капустой. Когда глаза Миргасима привыкли к темноте, он увидал светлые щёлки — это было забитое фанерой окно. Миргасим рванул фанеру, и в чулане сразу стало солнечно, весело. Сколько здесь книжек! Но ни стола, ни стула нет.

— Вот, значит, какая бывает БИ-БЛИ-О-ТЕ-КА!

— Да нет, она будет не такая. Твой брат Зуфер обещал стёкла в окна вставить, Зианша принесёт из дому книжные полки, здесь будет очень хорошо. Мама цветы даст.

Под ногами шуршали старые газеты, журналы.

— Собери всё это в угол, Миргасим, сложи аккуратно. Мы этими газетами стены оклеим, а потом повесим картины.

Миргасим складывал, складывал, и вдруг попалась ему потрёпанная книжка без переплёта, с вырванными страницами. Но какие были в этой книге картинки! Волки мчались вверх ногами за козами, козы убегали от волков на своих рогах; люди ходили на голове, дома стояли крышей вниз, деревья росли вверх корнями.

— Наиля, можно, я бабушке эту книгу покажу? Я только на минуту...

— Бери хоть насовсем.

Схватил книгу и пустился домой.

— Бабушка, гляди!

— О Миргасим, как рано кончились занятия в школе! Я не успела обеда приготовить, ты, должно быть, проголодался... Первый твой день, а я опоздала...

— Не беспокойся, бабушка, не спеши, там ещё занимаются. Это только меня одного отпустили.

— Разве ты не такой, как все?

— Я заслужил... Потом расскажу. Лучше посмотри, какую книгу мне в библиотеке подарили. Смотри же!

Бабушка чистит овощи, ей некогда, но обидеть своего любимца она не в силах, да ещё в его первый школьный день.

Не выпуская ножа из рук, она заглядывает в книгу и поддакивает:

— Хороший подарок! Учись, мой внук, учись.

— Нет, ты как следует посмотри.

Бабушка положила овощи в котёл. Теперь можно сесть рядом с внуком. Надела очки и начала прилежно, внимательно разглядывать картинки.

— О мой внук, как же такую корову доить? Быть этого не может, чтобы коровы ходили вверх ногами.

— Но, бабушка, это же напечатано в книге!

Так сидят они на сэке, поджав ноги, и беседуют, пока не приходит брат Зуфер.

— Эх вы, грамотеи! — Взял книгу из рук Миргасима и перевернул её. Люди, звери, птицы сразу стали с головы на ноги.

— Так совсем неинтересно! — огорчился Миргасим.

— Где ты эту книжку подцепил?

— Хлебом насущным клянусь, ничего я не цеплял!!

— Книгу подарили ему в библиотеке,— заступается бабушка.

— В библиотеке? Интересно, почему Миргасим в учебное время попал в библиотеку. Заблудился?

— Его сегодня пораньше отпустили,— опять вмешивается бабушка,— он заслужил.

— Уже заслужил?! Успел?

Миргасим молча почёсывает одну ногу о другую.

— Странно,— замечает Зуфер,— почему ноги при тебе, а башмаки то и дело гуляют сами по себе?

И башмаки, будто слова эти услыхали, в дверь постучали, в избу вошли и учительницу за руку сюда привели.

— Здравствуйте,— молвила Фатыма-апа и наклонилась, ставя башмаки на пол.

Она ещё и выпрямиться не успела, как Миргасим исчез.

— Привет тебе, милая,— улыбнулась бабушка.

— Здравствуйте, апа,— почтительно склонив голову, произнёс Зуфер, заслоняя спиной окно.

Боялся, что обидится учительница, если увидит, как улепётывает от неё ученик, выскочивший в окно.

Потом Зуфер взял свою школьную сумку и пошёл в школу. Он учился во вторую смену.

— Бабушка,— сказала Фатыма-апа, когда они остались вдвоём,— Миргасим убежал из школы.

— Как это случилось?

— Я виновата. Велела ему выйти из класса, вот он и ушёл. А сегодня был его первый день...

— И твой тоже первый, детка. Но день-то ведь не кончился! Утром и ты, и Миргасим, вы двое, немного ошиблись. А что будет к вечеру? Молодые верят, будто всё может идти по ровной стёжке, как строка в книге. Но теперь ты сама видишь, милая, это не так. Завтра будешь старше, чем сегодня, и ошибки будут потяжелее... Да... Покуда живы — ошибаемся. Знай, милая, в гору идти трудней, чем под гору, но счастлив тот, кто с каждым шагом поднимается выше.

Глава двадцать шестая

ЕСЛИ К ДВУМ ПРИБАВИТЬ ДВА

Миргасим скоро занял в своём классе первое место, первое с конца. Да, с чтением, письмом дело у него подвигалось туго. Не было у него времени такими пустяками заниматься, потому что он учился не только в первом, но и в пятом, в шестом, седьмом классах. Ходил в школу и в первую и во вторую смену. Ни одного урока, которые вёл Зианша, Миргасим не пропускал.

Зианша на занятиях такие фокусы показывает интересные: как лучинка под колпаком гаснет, а рядом под таким же колпаком стеклянным жесть горит!

А Фатыма-апа только и знает свои буквы да палочки.

Зианша учитель молодой, но старательный — у него иногда так здорово пахнет в классе, хоть нос затыкай и беги. Но как убежишь, если из этого дыма, смрада получается фокус?

Когда-то кузнец Насыр говорил своему старшему сыну: «Учись, Зианша. Знание — богатство, что в огне не горит, в воде не тонет...»

И пришло теперь для Зианши время поделиться с людьми своим богатством.

Председатель Рустям сказал Зианше:

— Учителей не хватает. Ты окончил семь классов с отличием, умели, значит, учить тебя. Настала пора и тебе стать учителем. Тебе уже сровнялось пятнадцать. В твои годы писатель Гайдар был красным командиром, Павка Корчагин кровь проливал за Советскую власть. Твоя задача тоже нелёгкая, а кому легко? Война. Все мы на фронте.

Кузнец Насыр выписывал для Зианши книги, журналы, покупал таблицы, схемы, приборы для опытов, справочники.

Всё это Зианша подарил школе. Возьмёт ученик журнал, тронет пробирку, колбу, и учитель вспомнит отца, его зычный голос и могучие руки, на которых поблёскивали рыжие, как золото, волоски, когда он поднимал и опускал свой молот.

Зианша показывает ученикам опыты, читает вслух книги. «Кислород, углерод»,— повторяют ученики.

Глазам своим они не верят, когда Зианша-абый[1] наливает две одинаковые, две, как вода, бесцветные жидкости в один стакан и там, в стакане, получается жидкость красная или синяя.

— Отчего это? — прежде всех спрашивает Миргасим.— А что такое кислород?

Старших ребят учитель немного побаивается, особенно Зуфера — уж очень он строго слушает. А Миргасиму Зианша-абый отвечает смело. Если и не совсем точно скажет, так ведь малышу и того довольно. Другое дело Зуфер — тот неумолим. Однако и Зуфер слова сказать не смеет, когда Миргасим входит в его, Зуферов, шестой класс. Если учитель Зианша-абый мальчишку не гонит, то и Зуферу следует помолчать.

Дома он старший мужчина, в колхозе бригадир, а здесь, в классе, такой же, как все, ученик.

Да, все классы посещает Миргасим. И дома трудится — налил однажды в стакан немного масла, керосина, воды, смешал всё, взболтал и поджёг!

— Спасибо, что глаза целы остались,— приговаривала

---

[1] Абый — почтительное обращение к старшему.

бабушка, смазывая катыком обгоревшие брови и красные, с обгоревшими ресницами веки.

Бывают дни, когда Миргасиму и умыться недосуг, где уж тут уроки учить! Дни осенние коротки. Летом, может, и успел бы, но осенью? Невозможно!

Чтобы снова и снова не услышать упрёков Фатымы-апа за невыученный урок, Миргасим не приносит в класс домашнюю тетрадь.

— Если завтра не принесёшь, придётся кого-нибудь за твоей тетрадью в командировку послать.

— Я сам побегу!

— Сегодня поздно уже. Но если и завтра не будет тетради...

А что она могла бы завтра сделать? Фатыма-апа и сама ещё не знает. С этим мальчиком следует быть осмотрительной. Неизвестно, что выкинет он в ответ на резкое слово.

— Если завтра не принесёшь...

— Принесу! — неожиданно для самого себя выпалил Миргасим.

Сказать «принесу» не так уж трудно, а как принесёшь, если в тетради пусто? Ребята пишут вон как бойко, но у Миргасима времени не было письму обучиться.

— Не горюй,— утешает Миргасима Фаим-сирота,— принеси мне луковицу печёную или картошину варёную, и за это я завтра, до звонка, напишу урок в твоей тетради.

Пишет Фаим замечательно, лучше всех в классе. Рука у него привычная, дядя Саран задолго до школы письму обучил. Как сам учился, так и племяннику показал. Сам-то Саран-абзей учился до революции, тогда грамоты своей у татар не было, пользовались они грамотой арабской. Мы пишем от левой руки к правой, а по арабской грамоте надо строку от правой руки к левой вести. Вначале Фаим в школе тоже строку всё с правого края начинал, но привык постепенно и всех по письму обогнал.

Миргасимову работу он быстро сделал, как раз к началу урока. Смотрит Миргасим в свою тетрадь, любуется. За такое письмо красивое не то что луковицы, даже куска сахара не жалко.

— Ешь, Фаим.

Тут апа взглядывает на Миргасима:

— Тетрадь принёс?

Миргасим смело выходит, кладёт на стол раскрытую тетрадь.

Апа взглянула, брови её вверх поднялись:

— Не пойму, твоя это тетрадь или Фаима! Сразу видно, что Фаим тут потрудился.

Ребята так и уставились на учительницу: ни у кого она ни слова не спросила, ничего не видала, а всё узнала, угадала...

Зажужжал класс, будто улей растревоженный:

— Кто сказззззал-ззал-ззал?

Фатыма-апа подняла Миргасимову раскрытую тетрадь:

— Что тут написано? Читайте вслух.

И класс прочитал:

— улиМ алым амаМ.

— Теперь посмотрите в свои тетради и прочтите вслух.

— Мама мыла Милу.

— Фаим снова начал, как дядя Саран, от правой руки к левой строку вести,— сказала учительница.— Вот и получилось у него «улиМ алым...».

— Амам! — подхватили ребята.

— Потому что я торопился,— оправдывался Фаим.— Вот посмотрите, в моей тетради всё правильно.

Пришлось Миргасиму поискать себе другого помощника.

— Фарагат, напиши за меня, у тебя в домашней тетради всегда пятёрка.

— Без мамы не могу. Мы всегда вместе уроки пишем. Если мама занята, мне в тетрадку старшая тётя уроки пишет...

Пошёл Миргасим к Абдулу-Гани:

— Ты уроки сам делаешь?

— А как же!

— Напиши за меня.

— Нельзя. Зианша-абый знаешь какой теперь сердитый? Линейкой дерётся, в угол ставит. Что поделаешь? Он учитель, а я учителев родной брат. Кому пожалуешься?

И всё же нашлись добрые люди — работяга Темирша, сестра его длинная Разия и малютка Аминэ — все трое. Как могли, так и помогли.

Темирша упражнение буква за буквой аккуратно вывел. Разия задачку записала. Аминушка тихо-тихо на столе сидела, в тетрадь глядела и вдруг как подхватит, как потащит в рот! Съесть не съела, но чернила размазала, страницы смяла.

— Т-ты д-дома ут-тюг-гом проглаль.

— А кляксы?

— Отогни скрепки, осторожно вынь испорченные листки,— посоветовала умудрённая опытом Разия,— вставь сюда листки из другой тетради, загни скрепки, перепиши всё сначала, и сам бог даже через четыре дня и то ничего не узнает.

Миргасим всё сделал, как ему сказали, перешил тетрадь, переписал упражнение и задачу. Но цифры, какие Разия поставила, он не сумел как следует разобрать, получилось приблизительно. Да зато как чисто, красиво!

— Теперь видно, Миргасим, что ты сам потрудился,— сказала на другой день Фатыма-апа, проверяя его тетрадь.— В задаче сказано: «У девочки было два яблока, мама дала ей ещё два. Сколько стало яблок?»

— Четыре.

— Правильно. Если к двум прибавить два, будет четыре. Почему же ты в тетради поставил девять?

Миргасим молчит. А что говорить? «Аминэ тетрадь жевала, цифры языком слизала?» Да, ему-то сказать было нечего, но Фатыма-апа говорила не умолкая:

— Интересно... Одни страницы в клетку, другие в линейку. Выдрал из тетради для письма, чтобы починить тетрадь по арифметике? Интересно... Хорошо ты потрудился...

Взяла со стола ручку, обмакнула перо в красные чернила и нарисовала в Миргасимовой тетради удивительно красивую кудрявую двойку.

— Это тебе за задачу.

Пониже вывела ещё одну двойку, такую же нарядную, фасонистую:

— Это за тетрадь.

Вечером бабушка, как всегда, поинтересовалась:

— Фатыма-апа тебя спрашивала? Что поставила?

— Четыре.

И тут он увидел глаза Шакире. Эти прекрасные тёмные глаза смотрели, словно говорили: «И тебе не стыдно?»

Но хотя Шакире ничего не сказала и даже глаза опустила, Миргасим не выдержал:

— Что смотришь?! Если к двум прибавить два, что получится? Не слыхала задачи? Если к двум прибавить два...

— Да, конечно, если к двум яблокам прибавить два яблока, будет четыре яблока. Но если к двойке за тетрадь прибавить двойку по арифметике, то в дневнике так и останутся две двойки. Четвёрки не получится.

— Виноват я, что ли? У Фаима помощи просил, к Абдулу-Гани обращался... И Темирша мне помогал, и Разия... Всё пробовал. Ничего не получается.

— А уроки учить ты не пробовал? — поинтересовалась бабушка.

Но через день Миргасим торжествовал:

— Гляди, получилась! Четвёрка!

Миргасим получил эту отметку за то, что на уроке вытянул из-под парты ногу, когда Разия шла от доски на своё место. Она споткнулась, упала.

— И вот пожалуйста! ЧЕТВЁРКА!

И снова Шакире сердилась! Не поймёшь её...

— Сама же говорила, что четвёрка хорошая отметка.

— Четыре за уроки и четыре по поведению — это совсем разные четвёрки.

Кто бы мог поверить, что Миргасим когда-нибудь получит пятёрку, бесспорную, настоящую? Это случилось много позже, когда грамоте он научился.

Фатыма-апа повесила на доску картинку, где была нарисована кошка с котятами. Она сказала, что первоклассники теперь грамотные и сегодня будут работать сами.

— Напишите сочинение. О кошке.

Миргасиму это понравилось. Вот что он сочинил:

СКАЗКА О КОШКЕ

Кошка выводит котят. У кошки есть зубы. У кошки зубы, как у льва и леопарда. У кошки есть хвост. Когда кошка злится, она вертит хвостом.

За этот хвост и была поставлена пятёрка.

— Очень ценное наблюдение,— сказала Фатыма-апа,— ты наблюдательный. Вот если бы ты всегда так старался...

Глава двадцать седьмая

КАРТОШКА, КАРТОШКА...

С утра седой пеленой повис дождь. Затяжной. Летом ведро воды — ложка грязи, осенью ложка воды — ведро грязи. Земля липкая, холодная, одежда мокрая, руки мёрзнут, кожа трескается, и вскакивают на ней красные пупырышки.

Но плачь не плачь, а работать надо. От первых утренних заморозков пожелтели репьи по оврагам, почернела ботва картофеля на полях. Картошка уродилась богатая, клубни тяжёлые, розовые, как поросята. Среди этих розовых встречаются и лиловые, и белые, и желтоватые. Когда наша картошка попадает на рынок, люди смеются: «Крашеная она у вас, что ли?» А тронут пальцем, и кожура сходит тоненькими, как паутинка, лоскутками, чешуйками, обнажается твёрдый гладкий клубень. Без ножа можно чистить! Нигде такой картошки не встретишь. Земля у нас, может, особенная или это старики такой сорт никому не ведомый постепенно вывели, не знаем. Известно только, что каши манной не захочешь, когда картофель наш отварной, горячий, рассыпучий отведаешь. Без масла во рту тает.

Брали у нас на семена из других районов — нет, не получается! Мельчает на чужой земле, грубеет. Да, картошку растить — это, оказывается, дело не простое.

А собирать, хранить, чтобы до весны была свежая?

Эх, в другое время ясного дня дождались бы, потом дружно, весело всей деревней на поля вышли бы,— тут и лошади, и машины. Теперь надеяться нам не на кого, не на что. Одним погожим днём не обернёмся. Лошади на войне. Горючего для машин нет. Помаленьку, потихоньку, а приходится каждый день копать.

— Этак до зимы дотянем,— вздыхает бабушка.

— Женщины,— говорит на собрании председатель Рус-

тям,— надо постараться. Неужели такое добро сгноим, морозу отдадим?

— Всё равно нам с колхозного поля ничего не достанется,— возражает Саран-абзей,— больно много в наши края едоков понаехало. Поглядите — четыре машины за околицей стоят, картофеля нашего дожидаются.

— Женщины,— снова начал председатель,— слышали? Всего четыре машины, но, если по совести, мы больше должны бы дать. Рабочие люди эвакуировались со своими заводами, оборудование привезли, а добро своё дома оставили. Вот как у них получилось!

Женщины вздыхают, молчат.

— Живут рабочие по чужим углам, и детишки с ними. Паёк что? Один раз откусил, и нет его. Голодают. А работают как! На днях пришлось в районе быть, зашёл в цех заводской, там кунак мой один, русский, работает. Мужик был богатырь — одни кости остались. Стоит у станка, а над станком плакат — сам повесил: «Не выполнив задания, домой не уходи». По восемнадцати часов работает, оказывается. Оружие делает. Без оружия как врага победим?

— А без хлеба победишь? — сердится Саран-абзей.— Никогда не встречал такого человека, чтобы тратил своё добро на людей, а потом сам, обратившись к ним, получил бы помощь. Вот я тоже пришёл к тому заводу, хотел две-три доски для забора купить или сменять, так меня с заводского двора чуть метлой не выгнали.

— Думаешь, у нас метлы не найдётся? — молвил Абдракип-бабай.

Собравшиеся засмеялись.

— Я что, налоги не плачу? Я человек исправный, не гляди, что старик. Трудодней побольше, чем у другой молодки,— возразил Саран-абзей.— Ой, о-ох, спину скрутило!..

— Женщины,— негромко говорит председатель, опираясь на свои костыли,— неволить вас не хочу, своей властью, силой заставить — это будет нехорошо. Прошу вас, завтра будем всей деревней картошку копать. Кто посильнее, выходите с лопатой, кто послабее — с ведром.

И бабушка вышла, и Фатыма-апа. Где учительница, там, конечно, и школьники. Ну, а где народ, там дело без Мирга-

сима не обойдётся. Опрокинул он своё ведро, взял в руки две палочки и давай барабанить! Шакире согнувшись идёт, полное ведро картошки набрала, еле тащит.

— Давай веселей! — кричит Миргасим и стучит палками по ведру.

Ведро так здорово поёт, так звенит, что и самому петь хочется. Эх, если бы в Москве послушали, какая получилась музыка! Две палки, ведро да своя глотка в придачу. Не каждый день такой концерт услышишь.

— Эй, Асия! Хочешь, московскую песню сыграю?

Асия ходит по борозде, каждой картошине кланяется У неё вёдра небольшие, зато два сразу. Труднее ей, чем нашим деревенским: непривычная, городская. Сама, по своей воле сюда пришла.

— Эй, послушай! — кричит ей Миргасим.— Слушай музыку!

— Слушаю тебя, внучек, давно слушаю...

Бабушка?! Откуда она взялась? На дальнем конце поля была. В руках у неё лопата. Копает вместе с молодыми.

Миргасим бросает палки, берёт ведро, кладёт туда картошину, другую...

«Девчонки здесь уже всё подобрали, куда-нибудь подальше от них собирать пойду...»

Оглянулся, кругом посмотрел. Увидал людей на берегу реки.

«Кто там? Что делают?»

Бросил ведро и поспешил к реке, туда, где неподалёку от оврага был когда-то перекинут мостик. Весной в ледоход этот мост снесло, но сваи остались. Всё лето доярки на ферму в обход по плотине ходили. А теперь, глядите-ка, надумал, оказывается, председатель новый мост поставить.

В степной нашей местности доска дороже хлеба. Председатель разобрал свой сарай:

— Вот вам и доски!

Зуфер и Зианша настилают эти доски на сваи. А бригадиром у них работает знаете кто? Ни за что не поверите — старик Саран!

— Что ты, Миргасим, на меня уставился? — говорит Са-



ран-абзей.— Спроси у добрых людей, какой я был плотник! До чего хитёр, когда нужно доску сберечь! До чего вынослив в работе!

— Можно, я тоже буду гвозди забивать?

— Ты ещё мальчик, и язык у тебя опережает твой ум, а твоя решительность превосходит твою сообразительность. Не то жалко, что ты пальцы молотком разобьёшь,— обидно будет, если гвоздь погнёшь.

Старик берёт молоток и показывает, как гвозди заколачивать, как доски укладывать. Миргасим стоит будто приклеенный.

— Если хочешь помочь нам,— говорит ему Саран-абзей,—

иди в правление, там шофёр сидит. Жердь хорошую в кузове его машины я видел. Попроси. Устроим на мосту ПЕ-РИ-ЛА, как на Москве-реке. Зимой поскользнёшься, за жердь схватишься и не упадёшь, даже в гололёд!

Вот счастье-то! Не сам он с поля убежал в правление, в тёплую комнату,— его послали!

Старик не ошибся. Сидит в правлении шофёр, сидит там и председатель. Как будешь при дяде Рустяме эту жердь просить? Стыдно... Не зря Фаим говорит: «Чем долго просить, так уж лучше сразу украсть».

Миргасим стоит у двери опустив голову. Если голова опущена, глаза смотрят вниз. И что они видят? Пол. А на полу что? Рукавица кожаная, вот что! Если набить её песком, завязать потуже, вот тебе и футбольный мяч.

Миргасим поднимает рукавицу, она мокрая. Он кладёт рукавицу на печь, от рукавицы поднимается пар. Миргасим переворачивает её с боку на бок, греет осторожно, чтобы не пересушить. Пересушишь — кожа треснет.

Он так увлёкся своим делом, что о жерди позабыл.

Шофёр встал, пожал председателю руку:

— Пока.

Хотел было идти, но потом оглянулся, посмотрел на стол, поискал на стульях, заглянул под стол. На одной руке кожаная рукавица, другая рука голая. Тут Миргасим вышел на середину избы и сказал громким голосом по-русски:

— Табарыщ нащяльнык, я твой рукабис на печка поставил.

Что тут началось!

Не напрасно Асия всё лето русскому языку обучала.

— Хо-хо-хо! — Шофёр чуть не упал.— Ха-ха-ха!

Дядя Рустям чуть костыли не уронил, как услышал, а шофёр подхватил Миргасима на руки и говорит ему по-татарски:

— Как ты здорово по-русски шпаришь! Уж не москвич ли ты?

— А ты сам откуда татарский знаешь?

— Всосал с молоком матери.

— Ну, если ты татарин, дай нам жердь, которая в кузове. Нашим бабам ПЕ-РИ-ЛА сделаем, как в Москве.

— Давай чеши отсюда,— насмеявшись до слёз, молвил председатель.

— Жердь можешь взять,— разрешил шофёр.

Миргасим выскочил из комнаты, как стрела, сорвавшаяся с тетивы, даже «до свидания» забыл сказать.

Влез в кузов грузовика, сбросил на землю жердь, сам спрыгнул и поволок свой трофей. Хорошо он там, в правлении, отогрелся, но жердь согрела получше, чем печка,— уж больно длинна, тяжела... Пока тащил к мостику, семь потов сошло. Вымок не столько от дождя, сколько от пота.

Хорошо, жарко даже. Если бы сейчас хлеба кусочек, совсем было бы отлично. Да где же его возьмёшь, хлеб?

Саран-абзей взял жердь и насупился:

— Я просил — не дали, а мальчишку семилетнего уважили. Где же почтение к старости?.. Что ты тут крутишься? — рассердился старик на Миргасима.— Сделал своё дело и уходи. Без тебя управимся, иди собирай картошку.

— Пока жердь тащил, забыл, где ведро оставил... Можно, я только разочек рубанком по доске проведу?

Саран-абзей замахнулся на Миргасима жердью, и пришлось отступить.

Ведро всё-таки отыскалось. Миргасим ещё с вечера это ведро пометил, нарисовал красной краской букву «М». Но подсохнуть буква не успела, размылась, и получилось большое красное пятно, за версту его увидишь. По пятну и ведро заметно. Лежит в борозде вместе с двумя палочками. Миргасим оставил в ведре несколько картофелин, куда же они делись? Подобрал кто-то... Теперь придётся снова спину гнуть.

Ходит Миргасим по борозде, палочками ковыряет — мелочь, с орех величиной, попадается. Интересно, где девчонки собирают крупную картошку? Бродит Миргасим с борозды на борозду, руки мокрые, башмаки знаменитые дедушкины грязью облеплены. Но хуже всего, что бабушка ни на шаг не отстаёт, подбирает, что́ Миргасим пропустил.

— Бабушка, не нагибайся, пожалуйста, спина заболит. Я честно буду картошку из борозды выбирать, ни одной в земле не оставлю. Не веришь? Сама посмотри.

А вечером в правлении председатель Рустям всем спасибо

сказал и прежде всех старику Саран-абзею за то, что мост быстро сшил-сколотил.

— Хотя из спасиба шубы не сошьёшь,— ответил Саран-абзей,— но если труд твой уважают, мастерство ценят, то и поработать не грех. А главное, пять больших гвоздей я сберёг, нигде таких теперь не купишь, это Насыр-кузнец ковал.— Он вытащил из кармана длинные гвозди с большими плоскими шляпками.— Вот полюбуйтесь! А жердь и без гвоздей сто лет на козлышках лежать будет, никуда не денется, потому что пригнана ладно, обточена топором искусно.

— Спасибо ещё раз, абзей. Гвозди эти пусть будут вашей премией.

— Если бы прежние председатели были такие, как ты, Рустям, я бы и для них так же старался бы.

Потом слово взяла бабушка:

— Поблагодарим школьных учителей Зианшу-абыя и Фатыму-апа, они учат детей хорошо, воспитывают своим примером. Сами работали усердно, и школьники старались. Хочется похвалить Асию, Наилю...

И пошла бабушка называть лучших. Называла, называла...

— А не больше вы упомянули имён, чем было детей? — пошутил дядя Рустям.

— Нет, кое-кто остался не названным,— ответила бабушка.

Все засмеялись, а Миргасим спрятался под стол, чтобы никто не догадался, какого человека в числе лучших не назвала бабушка.

Глава двадцать восьмая

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

Пришли люди с поля домой после дождя, помылись, переоделись и спать легли. Намаялись.

Но Миргасим не может уснуть. Обидели его, сильно обидели. После работы всех похвалила бабушка, каждому доброе слово сказала, только для Миргасима ни одного

словечка у неё не нашлось. Ну, это правда, озорничал немножко, зато всем, на него глядя, весело было, смеялись! А жердь у шофёра кто для моста выпросил? Теперь будут по мосту ходить, за перила держаться, но о Миргасиме и не вспомнят. Почему бабушка обидела? За что? Картошку не выбирал он из борозды, что ли? С утра не очень-то старался, зато к вечеру он разошёлся, быстрее всех поворачивался, туда-сюда бегал. И не с пустым ведром! Мало было картофелин в каждом его ведре? А всего-то, всего сколько вёдер он перетаскал, не сосчитать. Сто или тысяча. Не видала, что ли, бабушка, как шустро он работал? Нет, видела, да похвалить не захотела.

Бабушке тоже почему-то не спится. Сидит на сэке, прядёт. К доске привязан ком промытой, расчёсанной, белой, как облако, шерсти. Бабушка пальцами правой руки пощипывает это облако, будто доит его, и течёт белой струйкой мягкая кудель. Под левой рукой жужжит, поёт веретено, крутится, скручивает кудельку в упругую нить. Течёт, течёт нить, не кончается, поёт, поёт веретено, не умолкает.

Говорят, что лучи лунные на таком же веретене спрядены, что облака небесные на деревенской прялке сотканы.

Давно это было, в старину, в далёкую старину. Жила на высокой горе прилежная Ткачиха, с утра до вечера пряла тонкую нить, с вечера до утра ткала цветную шёлковую ткань.

Каждое утро, каждый вечер приходила к Ткачихе её бабушка, Небесная Старуха. Брала только что спрядённую нить, только что сотканную ткань и расстилала по небу. То тучкой ляжет пряжа, то дождём заструится, то зарёй сверкнёт. Инеем землю оденет, лунным светом посеребрит.

Мало этого бабушке, туманы ей нужны и зарницы. День и ночь ткала Ткачиха, всё глядела на небо, какую ещё выткать на нём звезду, какое пустить по нему облачко. И вот однажды и на землю она посмотрела, увидала юношу Пастуха. Спустилась с горы, стала ему доброй женой, двоих детей родила — мальчика и девочку.

Рассердилась Старуха и взяла Ткачиху на небо. А Пастух посадил в одну корзинку мальчика, в другую — девочку, надел корзины на коромысло, перекинул коромысло через плечо и пустился в погоню. Всю землю обежал, с края земли на край неба ступил и по небу быстро-быстро зашагал. Видит

бабушка: догонит он жену свою, на землю вернёт её. Ещё быстрее она побежала, но Пастух всё ближе, ближе. Обернулась тут Старуха, кинула булавку.

Булавка эта небесную твердь проколола, и хлынула из прокола река, по всему небу разлилась. Ткачиха оказалась на одном берегу, Пастух остался на другом...

— Что с тобой, Миргасим, о чём шепчешь, почему не спишь?

— Да, уснёшь, как же, если ты только всё Зуфера да Шакире хвалишь, а мне доброго слова не скажешь никогда! Я сегодня весь день в поле был, ни минуты не отдыхал...

— Да, ты набегался! Как та лиса, ты постарался, которая с драконом сразиться хотела.

— Ой, бабушка, расскажи, пожалуйста!

— В одном лесу жили драконы, и боялись они только волков.

«О волк,— сказала лиса,— ты ненамного сильнее меня, но бросаешься на дракона и одолеваешь его. Научи, пожалуйста, и меня побеждать драконов».

«Ладно. Смотри и учись».

Вышли они на поляну. Услыхали страшный рёв.

«О волк! — заверещала лиса.— Глаза твои гневом зажглись!»

«Делай, как я»,— сказал волк и устремился навстречу дракону.

«О волк, глаза твои вращаются, и шерсть встала дыбом...»

Но волк не ответил. Прыжком настиг дракона и вцепился ему в глотку.

На другой день вышла на ту же поляну лиса. Всех птиц и зверей созвала:

«Смотрите, звери: глаза мои вращаются?»

«Ещё как!»

«Глядите, птицы: шерсть моя вздыбилась?»

«Ого-го!»

«Ну, значит, всё в порядке. Сейчас покажу вам свою мощь и отвагу».

А дракон уже здесь. Отшвырнул он лису, схватил свою добычу и улетел. Лиса осталась на земле побитая.

Да, внук мой, смешон тот, кто думает: «Всё дело в том,



чтобы вращать глазами». Ты и правда топтался по полю не меньше других, но в ведре твоём я не видела больше десяти картофелин. Полного ведра ты не поднял ни разу. А Шакире весь день носила полной мерой, и Зуфер поднимал мешок за мешком и грузил на машину...

Ну что тут скажешь? Он молча смотрит, как тоненькой струйкой течёт и течёт нить.

Голова потяжелела, будто приклеилась к подушке, глаза слипаются. Миргасим чуть было не закрыл их, но вовремя опомнился, снова открыл и увидал: не одно — три веретена жужжат, не одна — три нити крутятся. Разве это может быть? Сколько же у бабушки рук? А сколько здесь бабушек?..

Не сосчитаешь... Всё дальше, дальше уходят веретёна. Вот поднялись к окну, стукнулись в стекло, вошли в него, как в воду, и потянули нить за собой. Побежали веретёна по крышам, а нити оборвались и рассыпались звёздами по всему небу. Только одна ниточка, тонкая, как конский волос, всё ещё вьётся между звёзд. И в комнате тоже одна только бабушка, и у неё всего только две руки — одной кудель щиплет, другой веретено вертит. По тонко спрядённой бабушкиной нити спускаются с неба две звёздочки — мальчик и девочка, дети Пастуха и Ткачихи. Они ныряют в окно, проходят сквозь стекло и бегут по полу:

«Бабушка, бабушка, для чего разлучила наших папу и маму?»

«Нет, милые, не я, другая разлучила их. Но я каждый год в седьмой день седьмого лунного месяца сорок со всей округи скликаю, сорочий мост через Небесную реку перекидываю. На том сорочьем мосту Пастух и Ткачиха встречаются... Один раз в году, в седьмой день седьмого лунного месяца.

А веретено, как пчела, жужжит, будто шмель гудит, поёт, словно сверчок. И бегут по нити поющие на разные голоса две звёздочки, мальчик и девочка, дети Пастуха и Ткачихи.

«До свидания, бабушка, до встречи в будущем году, в седьмой день седьмого лунного месяца...»

«Не знаю, не знаю,— отвечает бабушка,— не знаю, милые, встретимся ли... Война ведь... Война...»

И прядёт, прядёт белую кудель.

А в комнате всё белым-бело, лунным светом замело.

Это было так удивительно, что Миргасим проснулся.

Что это? За окном и в самом деле всё побелело, заиндевело.

— С добрым утром, с первым снегом! — сказала Миргасиму бабушка.

«Это ты, бабушка, белой шерсти напряла, белые половики расстелила, зиму сотворила?» — хотел было спросить Миргасим, но подумал и не спросил. Боялся, вдруг бабушка ответит: «Не я это сделала. Нет, не я».

Глава двадцать девятая

СУХОЙ РЕПЕЙНИК

— Давай подтяни живот, старушка моя,— приговаривал, бывало, Абдракип-бабай, запрягая свою лошадку.— Уж как-нибудь этот воз давай потянем... Что такое старик? Как старый зонтик: пылится в углу, никому не нужный, а как хлынет дождь, глядишь — и пригодился. Охо-хо! Кони молодые, люди молодые, они, дружок, в пекле! А мы с тобой тут, на свежем воздухе. Но-о! Поехали!

Может быть, у такого хозяина и повозила бы ещё свой воз эта лошадёнка, да ведь хозяин-то он у неё не один. Сегодня приказывают: давай, старик, притащи воз соломы вдове; завтра велят: давай, дед, вспаши приусадебный участок сиротам, подвези топливо школе...

Крылья коня — овёс. На мякине, на сене далеко ли уедешь? Лошадка была безотказная, а вот легла посреди дороги и не встала. Осталась школа без соломы, без дров.

В школе было ещё холоднее, чем на улице. Даже пар изо рта шёл. Печку ни разу не топили.

Лошади, сколько их осталось, тащили возы с зерном на элеватор, справляли полевые работы и почтовую гоньбу.

Телефон в правлении не отдыхал. Днём и ночью звонили из района:

«План сдачи хлеба государству как выполняете, товарищ Рустям? Плохо выполняете».

Фатыма-апа, Зianша-абый не решались напомнить председателю о топливе для школы.

— У него и без нас забот хватает,— сказала учительница.— Надо нам как-то самим о школе позаботиться.

— Пусть каждый ученик принесёт хоть немного соломы или кизяков из дома,— решил Зианша.

Взял Миргасим ручную тележку, подкатил её к заготовленному на зиму стогу.

— Ты что это? — поинтересовалась мама.

— Фатыма-апа сказала: если бы каждый ученик принёс немного топлива... Я возьму солому и отвезу в школу.

— А кто тебе позволил? Летом все носили солому с поля, а ты хоть одну вязанку принёс? Отойди, солома не твоя.

Что же делать? Миргасим задумался, потом пошёл под навес, где лежали аккуратно сложенные сухие кизяки. Но когда протянул руку к этим бурым кирпичам, в окно постучала бабушка.

— Зачем берёшь? — спросила она, выйдя на крыльцо.

— Бабушка, учительница велела топливо принести. Замерзаем в школе.

— Я тебя летом просила: «Миргасим, собери навоз», а ты много собрал? Я тебя просила: «Пожалуйста, Миргасим, помоги навоз топтать», а ты топтал? Нет, я тебе ни одного кизяка не дам.

— Бабушка, надо печку в школе топить.

— Конечно, печку топить надо. Иди на берег реки, наломай сухого репейника. Отлично репейник в печке горит — и свет даёт, и тепло.

— Ну сама подумай, много ли я притащу!

— В один раз немного, в другой раз немного, так понемногу и станет много.

Делать нечего, Миргасим надел шапку-ушанку, подпоясал армяк верёвкой, чтобы было чем обмотать вязанку, и направился к двери.

— Постой, внучек, ты рукавицы забыл.— И бабушка протянула ему свои старые, толстые, обшитые холстом и кожей рукавицы.

— Это торбы, а не рукавицы! — рассердился Миргасим, закинул бабушкины рукавицы за печку и взял пёстрые шерстяные, которые сестрёнка Шакире себе связала.

«Эх, до чего же нарядные! Почему она мне такие не свяжет?»

Миргасим спрыгнул с крыльца. Звонко цокнули о замёрзшую землю стальные подковки. День был сухой, морозный, и кое-где на заборах поблёскивал первый иней, а кусты, которые ещё вчера уныло качали голыми чёрными ветками, сегодня были похожи на белых лебедей.

Миргасим поднял голову и запел:

Башмаки, башмаки,
Цокают подковки!

А башмаки в лад песенке: цок-цок-цок, топ-топ-топ!

И прицокали,
И притопали!

Куда? На берег, к овражку.

Ранней весной, когда войны ещё не было, здесь, у оврага, бегали, скакали телята. И мычать-то они тогда ещё не умели, только плакали: «Ы-ы-а...», но уже пробовали бодаться, честное слово! Глаза у них были синие, с длинными, прямыми ресницами. Глядят, просят: «Пожалей меня...»

«Мама, можно я только вон того, красного, поглажу?»

«Не трогай, Миргасим, у тебя руки грязные».

«Я сегодня утром руки мылом мылил, кипятком шпарил. Не веришь? Бабушку спроси, она сама меня заставила».

А телята такие славные, они первую весеннюю светлую траву розовым языком гладят, щипать ещё не умеют, только учатся.

«Иди отсюда, уходи,— просит мама,— дядя Сабир рассердится».

«Я полыни прошлогодней наломаю для костра!»

Над костром висит кастрюля с кипящей водой. Зоотехник Сабир-верста мирно похаживает между телятами, одного погладит, другому в рот заглянет. Белый халат развевается на нём, как на палке, как на пугале огородном. При каждом шаге, как железо, гремит этот туго накрахмаленный, ослепительно белый халат.

Вот зоотехник подошёл к костру. Миргасим подбросил охапку сухой полыни, огонь вспыхнул ещё жарче, искры посыпались во все стороны и упали на белоснежный халат.

«Кто тебя звал сюда, Миргасим?» — спрашивает длинный Сабир, свирепо вращая глазами.

Он открывает металлическую длинную коробку, достаёт оттуда щипцы и этими щипцами вынимает из кипящей кастрюли шприц с огромной иглой.

Миргасим зажмуривается, затыкает уши, убегает. Бежит спотыкаясь, будто он слепой и глухой. Не может он смотреть, как игла вонзится телёнку в зад, не может слышать, как жалобно кричат телята...

Но покинул деревню зоотехник. Далеко он теперь, лошадей военных лечит. Нет теперь и телят, которым он прививки делал. Здоровенные выросли! Мычать научились, но и с ними тоже пришлось расстаться, увезли их.

Все куда-то едут, откуда-то приезжают, где-то застревают, пропадают без вести...

Шуршат на ветру сухие стебли репейника.

Здесь, у овражка, когда репейник этот красно-синими цветами цвёл, увидал Миргасим однажды, как Асия плачет.

Мёдом пахли цветы, и пчёлы садились на них, сладкий сок пили. Но Асия этого не замечала. Она письмо читала и плакала. Больше писем нет ей. Читать нечего, незачем и плакать.

Женщинам, которые плачут, бабушка внушает: «Будем надеяться, будем верить, ждать хороших вестей. Пусть горе-беда стоны наши не подслушает, на плач наш не явится. Не следует самим на себя беду слезами кликать».

И Асия слёзы свои теперь бережёт, не то что прежде. Да и Чулпан горевать не даст, не любит он, когда плачут. Подойдёт, всё лицо оближет — нравится, должно быть, солёное.

Здесь, на берегу, подле оврага, увидали они впервые этого щенка. В шляпе умещался! А какой большой вырос — с козлёнка! Нет, пожалуй, даже побольше. Тогда, бывало, чашку молока выпьет и сыт, а теперь еды ему не напасёшься. Куда это вся еда подевалась? Вот знаешь — надо Чулпану кусочек оставить, а так хочется самому съесть! Почему Миргасим такой жадный? Раньше чужих собак кормил, а

нынче для своего Чулпана никак не может куска сохранить... Бабушка вчера ему какую лепёшку из отрубей на ужин дала! Почему же сегодня опять есть так хочется? Но всё равно он картошину варёную, что в кармане лежит, не съест, принесёт Чулпану. Фарагат обещал ложку масла принести, вот и будет Чулпану обед — картошка с маслом.

Если бы узнал про такой обед Саран-абзей, ну и досталось бы ребятам! Старик на Чулпана сердится.

«Такого пса большого кормить не грех ли? — говорит он.— Убрать надо этого обжору из нашей деревни».

А Чулпан, он ведь всё понимает, как увидит Саранабзея, весь настораживается, подбирается:

«Ррр-ррр...»

Прежде он только тонко-тонко повизгивал, будто свистел, как птичка, это когда он совсем маленький был. Потом стал лаять, как колокольчиком звенеть. А теперь научился говорить басом.

«Гав, гав! Рррр...» — такой у него голос красивый-прекрасный. Ни одна собака во всей деревне не лает так строго, басисто.

И лапы у Чулпана могучие, большущие, как у волка!

Миргасим нащупывает картошину в кармане — крупная... Да, Чулпана кормить нелегко. Но что поделаешь? Всем теперь трудно. Надо терпеть. Чулпан тоже жить хочет. Ничего, проживём как-нибудь...

Миргасим вздохнул и принялся ломать сухие стебли репейника. Они слегка потрескивали под рукой и ломались легко, а ведь недавно летом, когда Миргасиму захотелось сорвать ярко-малиновый цветок, изодрал он руки до крови: такой крепкий, колючий был стебель. Всё лето тут жужжали, как веретёна, шмели и пчёлы, цветов было полно, овраг казался розовым, и пахло мёдом, как на пчельнике. Теперь цветы высохли, и вместо них на стеблях висят семена в одежде, похожей на хлопья грязной ваты. Колючки тоже высохли, сделались тонкими, незаметными. Ой, как впиваются они в варежки, вцепляются в ладони! Руки словно в огне горят, чешутся.

Снял варежки, принялся ногтями, зубами вытаскивать колючки из ладоней.

«Почему бабушкины рукавицы дома оставил? Уже давно репейника наломал бы, связал бы вязанку... А теперь где топлива возьму? Вот покажу бабушке свои руки, пусть посмотрит, каково репейник ломать. Неужели она мне так и не даст кизяков? Лето придёт, сколько коровьих лепёшек я натаскаю!»

Нет, не поверит бабушка. Кизяков не даст. Пора уже привыкнуть: если сказала «нет», значит, нет. Её не разжалобишь, хоть умри.

Миргасим вздохнул, осмотрелся: может, кто какую корягу потерял или хоть палку? И всё чаще поглядывал он на жердь, на ту самую, что выпросил у шофёра. Она лежала на козлышках по краю моста.

«Вот они — дрова!»

Глава тридцатая

ЖЕРДЬ

«Поскользнёшься — за перила схватишься и не упадёшь, даже в гололёд» — так, что ли, Саран-абзей говорил?

«Пожалуй, лучше будет уйти отсюда поскорей. Пусть они остаются на своём месте, эти перила...»

Миргасим отвернулся, зажмурился, даже уши заткнул. Нет! Ничего не поделаешь, жердь из ума нейдёт, на сердце лежит. Какие дрова из неё получатся — чудо! Как затрещат они в печи — сухая ведь жердь эта.

«Подумаешь, ПЕ-РИ-ЛА! Москва здесь, что ли?»

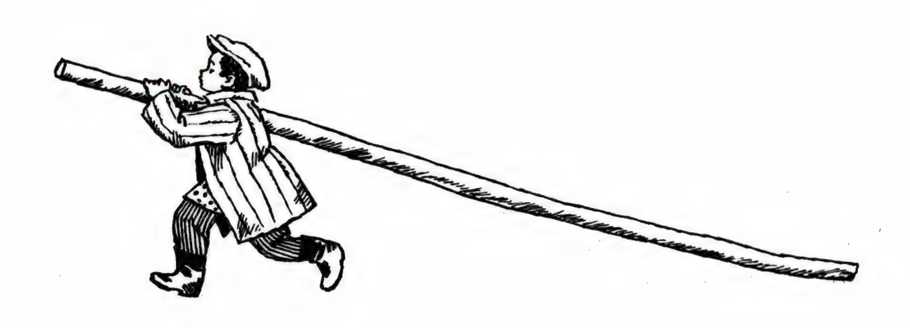
Толкнул — жердь подалась.

«Без гвоздей, просто на козлышках палка лежит! — обрадовался Миргасим.— Спасибо знаменитому плотнику, постарался Саран-абзей, сберёг гвозди! Пусть теперь на себя и пеняет. Сам виноват».

Миргасим подставил плечо, упёрся — и жердь выскочила.

Тащил он свою добычу в школу и песню пел:

Встречайте, встречайте,
Встречай-те!!



Дрова идут,
Идут, идут!

На школьном дворе уже лежали вороха соломы, картофельной ботвы, репейника. Были и стопки кизяка, но дрова! Нет, только один Миргасим притащил такое длинное, сухое дерево.

Смотрите, смотрите,
ГЛЯ-ДИ-ТЕ! —

пел Миргасим.

А ребята ему отвечали:

Ура, ура, ура,
Ура дровам,
УР-Р-РА!

Только Фаим не пел, не радовался.

— Послушай, Миргасим,— тихо сказал он,— я знаю, откуда ты это добро взял. Скорее неси пилу, распилим, тогда поди ищи-свищи! Дрова и дрова. Вот и всё.

— Бабушка спросит: «Зачем тебе пила, откуда дрова?..»

— А ты лучше пойди на ферму к своей маме, скажи: «Фатыма-апа просит».

— А мама вдруг скажет: «Возьми пилу из дома, попроси у бабушки...»

— Да... Если бы у меня была мама, врать ей не стал бы,— признался Фаим.— Ты там, на ферме, лучше попроси

пилу у чужой тёти. Знаешь, как на базаре мой дядя чужим тёткам врёт? И ничего. За такую ложь аллах, значит, не наказывает.

Школьники убирают в сарай полынь, солому, картофельную ботву, кизяки.

— Миргасим, почему ты отдыхаешь?

— Сейчас пилу принесу, будем с Фаимом дрова пилить.

И побежал. Но что это? Словно гусиный пух посыпался сверху. Или это белые пчёлы роятся? Вьются пушистые белые пчёлки вокруг Миргасима. Ужалить хотят? Миргасим протянул руку, подставил ладонь. Села пчёлка на руку и тут же испарилась, растаяла...

Сначала снежинки сыпались редкие, крупные, потом посыпались чаще, повисли кружевными занавесками. Кто их сплетает, расплетает?

Миргасим протянул снежинкам свои горящие от заноз ладони, он ловит снег губами, языком.

Подошёл к мостику — его и не узнаешь! Будто солью посыпанный, весь белый. Раньше по плотине как далеко было на ферму ходить, а теперь перебежал по мостику — и уже там.

— Ай!

Кожаные подмётки башмаков скользнули по заснежённым доскам, а уцепиться не за что. Нога подвернулась, Миргасим упал.

Кое-как выкарабкался на берег, где уж тут за пилой бежать! Поплакал, поплакал да и потащился домой на четвереньках.

Пока дополз, уже и стемнело. Ввалился в избу, плюхнулся на пол.

Хорошо, что бабушка керосин бережёт, зажигают дома вместо лампы коптилку — фитилёк, в бутылке из-под одеколона. При слабом свете фитилька никто не замечает, что одежда Миргасима мокрая, сам он белее снега.

Но мать слышит стук его башмаков.

— Ты мог бы в сенях разуться,— говорит она,— пожалел бы сестрёнку. Шакире только что полы вымыла.

Едва сдерживая крик, Миргасим расшнуровал башмаки, разулся. Волоча ногу, кое-как добрался до своей постели, скинул мокрую одежду, укрылся одеялом.

Хорошо, что ужинать не зовут. Раньше, когда все садились вокруг самовара, и Миргасима позвали бы, а теперь, если есть не просишь, все радуются, никто не скажет: иди ужинать.

— Миргасим, чаю горячего хочешь? — спрашивает бабушка.

«Ох, картошина в кармане осталась! Что же Чулпан будет есть?» — беспокоится Миргасим.

— Бабушка, милая, пожалуйста, вынь из моего кармана картошку, отнеси Чулпану.

— Отнесу. А ты всё-таки выпей чаю. С солью, вкусно.

Миргасим, стуча зубами, выпил кипятку с солью и закрыл глаза, зевнул, но заснуть не может — нога болит.

Жужжит бабушкино веретено. Спокойно, ровно дышит во сне сестрёнка Шакире. Мирно похрапывает брат Зуфер. А мать вяжет, вяжет каждый вечер. Она вяжет носки, рукавицы. Каждая женщина, каждая девушка в деревне готовит подарки бойцам. Неужели война никогда не кончится?

— Понимаешь,— говорит мать бабушке,— так мы на ферме рады были нашему мостику — идёшь на сливной пункт с ведром и за жердь рукой держишься, а сегодня, как раз к зиме, когда снег лёг, кто-то жердь утащил.

— Эх, кто такой грех на душу взял? — вздыхает бабушка.

— Слышали бы вы,— говорит мама,— какие слова Саран-плотник кричал: «Чтоб ему руку переломало, вору тому, чтоб у него позвоночник высох!»

— В самом деле горько это,— вздыхает бабушка,— старик и тот ума набрался — колхозу помог, а кто-то ум свой потерял.

— Ладно уж, хватит вам,— стонет Миргасим,— я и так из-за этой жерди ногу свихнул...

— Что же ты молчал, дурачок? — подходит к нему мама.— А ну, покажи ногу.

Посадили Миргасима на скамью и опустили эту толстую-толстую, как чужую, ногу в ведро с холодной водой. Стало немного легче. Сидел Миргасим на скамье, нога в ведре, голова на мамином плече, и думал:

«А ведь хорошо, что нога подвернулась! Пилы не достал,

жердь мы не распилили, значит, завтра можно будет эту беду исправить, жердь на место положить».

Но вслух сказал другое:

— Это Саран-плотник во всём виноват, почему гвоздей пожалел? Была бы жердь на гвоздях, я никак стащить её не смог бы. Осталась бы на месте.

Мама взглянула на бабушку, бабушка — на маму, ну смеялись они! Давно такого веселья в избе не было.

Когда ведром гремели, когда Миргасим стонал, Зуфер только похрапывал, а как стало тихо в избе, сразу проснулся:

— Что случилось?

Ему рассказали.

— Всё-таки удивительно счастливый человек наш Миргасим,— произнёс Зуфер,— как нарочно, сам первый на мостике поскользнулся. А если бы бабушка упала? Должно быть, так и осталась лежать, сил не хватило бы подняться.

— Если бабушка — это ещё не самое худшее,— сонным голосом отозвалась Шакире.— Из-за внука любимого пострадать не так уж обидно, а вдруг поскользнулся бы кто-нибудь чужой?

И снова все засмеялись. Даже Миргасим.

— Зуфер, пожалуйста,— попросила мама,— встань завтра пораньше, возьми эту жердь со школьного двора и отнеси на место.

— Сделай так, чтобы никто не увидел,— прибавила бабушка.

— Я-то всё скрытно сделаю, только бы Миргасим не выболтал!

— Помни, Миргасим,— обратилась к младшему сыну мама,— опозориться легко, уважение заслужить трудно.

— Помолчишь — и за умного сойдёшь,— не утерпел Зуфер.

Глава тридцать первая

БОЛЬНОЙ

Миргасим болен, очень болен, у него нога болит.

Каждый день у постели больного гости, каждый день гостинцы. Вчера Фарагат принёс кусок сахара в спичечном коробке, сегодня Разия подарила красную бусину, большущую, с горошину.

Жаль, прежде не знал он, что болеть так весело. Глупый был, за всю жизнь не поболел ни разу...

Интересно, кто сегодня придёт, что принесёт?

За окном ещё совсем темно, однако чёрная круглая тарелка на стене — репродуктор — уже проснулась. Послышалось лёгкое потрескивание, потом, словно вода, «кап-кап»,— это далеко, в Москве, часы отсчитывали секунды. «Широка страна моя родная...» — зазвучало во весь голос. И все, кто ещё спал, открывают глаза, слушают:

«ГОВОРИТ МОСКВА...»

«Москва, Москва наша говорит! — радуется Миргасим.— Не взяли Москву немцы и никогда не возьмут!»

Он жадно слушает сводку Совинформбюро, шёпотом повторяет ставшие родными, знакомыми имена городов:

— Ельня, Киев, Смоленск, Одесса...

Опять Ельня, Брянск, Калуга, Вязьма.

Прежде Миргасим, как цыплёнок в скорлупе, в избе своей жил, теперь вся страна ему — свой дом. Да, Ельня своя, и Севастополь, и Одесса... Везде сражаются за свой дом, за свою Родину наши солдаты. Отец где? Под Одессой? Под Ельней? Кто знает... А брат Мустафа? Тоже неизвестно.

Послушают в нашей деревне «Говорит Москва» и ещё злее берутся за работу. И школьники от взрослых не отстают. Ещё бы! Можно ли плохо учиться здесь, далеко от фронта, когда столько ребят рады бы сесть за парту, да школ нет, учителей нет... Сколько городов разбили, разорили фашисты...

А Миргасим в такое время дома нежится? И ему не стыдно? Нисколько! Пусть работает кто здоров, а больному работать нельзя, можно совсем здоровье потерять, инвалидом сделаться. Так сам председатель дядя Рустям Миргасимовой маме сказал, когда она больная вышла на работу.

Вот Миргасим и не торопится выздоравливать.

— Ох-ох, ой! Нога-а-а-а!..

«Ну совсем я стал как Саран-абзей»,— думает он и ещё пуще кряхтит:

— Ох, ах!..

— Тётя Бике,— говорит Асия,— моя мама, бывало, ребятам в пионерском лагере согревающий компресс делала.

— А не лучше ли будет опустить ногу в кипяток?..— подражая Асие, заботливо предлагает Зуфер.

— Над больными не смеются,— обрывает Асия.— Разве Миргасим виноват, что нога подвернулась?

— А ты его самого спроси.

К счастью, Асия не спрашивает, потому что пришла Наиля, принесла из своей библиотеки журналы, газеты,

Асия сразу позабыла о Миргасимовой болезни, уткнулась в газетные листы. Читает по-русски, по-татарски. Новости невесёлые. Ленинград всё ещё в блокаде. Бьют по городу из орудий, бомбят с самолётов. Но самое страшное — ленинградцам есть нечего. От голода больше народа гибнет, чем от пуль.

— А Москва? Читай про Москву.

Нет, о Москве Асия читать не может. Передаёт газету Наиле.

Наиля читает быстро, бойко, но Миргасим не слушает. Он смотрит на коричневое школьное платьице Асии. Потёрлось оно, на правом рукаве заплата. И удивляться нечему. Наиля в этом платье два года ходила, теперь оно уже не такое крепкое.

Асия Миргасиму созналась однажды:

«Ненавижу я это платье. У меня в Москве в шкафу новое школьное платье висит. Мы с папой ещё весной купили...»

«Кончится война, поедешь в Москву и наденешь».

«Вырасту из него, должно быть».

«Другое купят».

Асия засмеялась:

«Ты всегда найдёшь что ответить».

А теперь сидит бледная, сердитая, теребит пальцами кончик фартука. Опустив глаза, новости слушает.

Миргасим тоже прислушался.

— «...Советский народ ведёт смертельную борьбу,— читает Наиля.— Весь мир с напряжённым вниманием следит за этой борьбой. Мы сражаемся не только за свободу и независимость своего народа, но и за свободу всех свободолюбивых народов мира...»

А дальше сводка Совинформбюро, и Наиля, запинаясь, повторяет названия городов, которые захватил враг. Фашисты уже на подступах к столице.

— «За нами Москва,— читает Наиля,— дальше отступать некуда!»

Миргасим видит лицо Асии и кричит:

— Врёшь ты, Наиля, всё врёшь! Радио слушать надо. Седьмого ноября парад на Красной площади был! Чтоб я оглох, если вру, пусть нога отвалится, если парада не было! Седьмого ноября!

— А сегодня уже двадцать седьмое,— вздыхает бабушка.

— Ну и что же? Позабыла ты, бабушка, как противотанковая бригада генерала Панфилова сражалась? Восемнадцатого ноября они врагов остановили на Волоколамском шоссе, у разъезда Дубосеково. Не помнишь?

Зуфер оборачивается к Миргасиму:

— Остановили. Но какой ценой? Ты грамотный, читай. Вот, возьми газету.

Впервые он говорит с братишкой как мужчина с мужчиной. И Миргасим впервые разворачивает взрослую газету, впервые читает напечатанные такими мелкими буквами строки:

«...Несколько десятков танков было брошено против этого рубежа. 28 бойцов-панфиловцев вступили в неравный бой. Несколько раз фашисты бросали в атаку свои грозные танки против смельчаков, которые встречали их бутылками с горючей смесью. И танки вынуждены были откатываться. 18 вражеских танков подбили наши герои. Ни на шаг не отступили перед огнедышащей железной лавиной».

Зуфер подсел на кровать к Миргасиму.

— Фашисты сколько лет к войне готовились,— говорит он,— а мы хотели мирную жизнь строить. Оружия у них больше, чем у нас. Вот наладим военные заводы, заработают

они во всю мощь, тогда держись, фашисты! — И его крепкие руки сжимаются в кулаки.

Знает Миргасим, как хотелось брату уйти на завод, собирать танки, делать снаряды.

«Даже пол подметать там и то было бы счастье! — мечтал Зуфер.— В армию не взяли, отпустите на завод»,— просил он.

Не отпустили.

«Без хлеба ни армии, ни завода нет,— возразил председатель.— Ты уйдёшь, я уйду, кто вместо нас будет в колхозе работать?»

И на этот раз тоже пришлось Зуферу забыть о своей мечте, пришлось остаться.

Наиля всё ещё читает. Асия, прижав кулаки к щекам, слушает, губы её вздрагивают, но глаза злые, сухие. Разучилась она плакать, совсем разучилась.

Наиля плачет за двоих, читая напечатанные в газете слова бойца, которые он своей кровью вывел на стене дзота:

«Родина моя! Я, сын Ленинского комсомола, дрался так, как подсказывало мне сердце. Я умираю, но верю — мы победим! Клятву воина я сдержал».

Бабушка всхлипывает, сморкается. Мама молчит, стиснув пальцы.

Миргасим вскочил с постели:

— Хватит валяться! Завтра иду в школу.

— Не спеши, если нога болит,— возражает Асия.— Не долечишь — всегда болеть будет.

— Давно уже не болит! Просто в школу идти не хотелось...

Бабушка чуть со скамьи не упала, мама обернулась, Наиля уронила сумку с газетами.

— Почему вы все так смотрите на меня? Не узнаёте, что ли?

— Да, не вдруг тебя узнаешь,— засмеялся Зуфер,— артист!

— Я сколько плохих слов знаю, но артистом ещё никого не обзывал! — чуть не плачет от обиды Миргасим.

— Артист — разве это плохо? — возражает Асия.— «Говорит Москва» слушаешь? Это диктор Левитан. Он тоже артист.



Тут все как рассмеются! Даже мама улыбнулась.

— Главное,— сказала она,— что наш артист всё-таки решил своё представление кончить. И завтра же пойдёт в школу.

— Не рано ли, тётя Бике? — молвила Асия.— Может быть, он только храбрится, а на самом деле нога-то болит.

— Пожалей, пожалей его,— сказал Зуфер,— он это любит.

Миргасим достал из-под подушки спичечный коробок, который ему вчера Фарагат принёс, и вынул оттуда кусок сахара:

— Возьми, Асия.

— Возьму для Чулпана. Спасибо.

— Оставь ты свою московскую привычку, брось повторять своё «спасибо». Хотел подарить только сахар, но из-

за этого «спасибо» приходится отдать и бусину красную. Вот она. Получи.

— Спасибо. Возьму для обезьянки. Будет ей брошка. Большое тебе спасибо!

— Хоть ещё сто раз спасибо скажи, больше у меня ничего нет.

И опять все засмеялись.

— Ну и артист, настоящий артист! — хохотала Наиля.— Клоун!

Наконец-то и молчаливая Шакире за Миргасима вступилась:

— Клоуны тоже нужные люди. Они всех веселят.

Ночью Миргасим долго не мог заснуть. Он думал об артистах:

«Что, если вдруг радио скажет: «Говорит Москва! Мы победили! Войне конец!» Тогда можно будет в клуб пойти и сделаться настоящим артистом. Асия тоже будет артисткой — она красивая, почти как плюшевая обезьянка. Я научу Асию сидеть на моей ладони и строить рожи. То-то смеху будет! Всех развеселим...»

Глава тридцать вторая

МОРОЗ НЕ ВЕЛИК, ДА СТОЯТЬ НЕ ВЕЛИТ

— Пора вставать, пора!

Будто и не ему говорят! Пока нога болела, Миргасим разнежился, обленился, и теперь вставать так рано ему не хочется. Лежит спиной к печке, лицом к окну, узоры морозные разглядывает.

Летом краше всех окна в доме Насыровых: цветут там герани и розы. Но зимой в каждой избе что ни окно, то цветущий сад. Узорчатые листья, гибкие стебли. Продышал Миргасим в этом саду круглое озерко и увидал, что небо за окном ещё совсем тёмное, почти чёрное. На крышах поблёскивает синий снег. Снег всегда синий, если небо чёрное. Но окна домов уже налиты светом. Из окон льётся свет на снежные сугробы, и кажется — снег выкрашен в жёлтую и чёрную клетку.

Значит, люди уже проснулись. Значит, и правда наступило утро.

— Вставай, Миргасим, вставай! В школу опоздаешь.

Шуршит соломой бабушка, вяжет золотые жгуты и кормит ими ненасытную печку. Чиркнула спичка, затрещала охваченная пламенем солома. Как светло стало в комнате, как весело побежали по соломенным жгутам огненные человечки в ярких колпачках! Колпачки жёлтые, красные, синие, зелёные, но больше всего красных! Красные наступают! Вперёд, красные, вперёд!

Кому хочется из тёплой комнаты на мороз? Да разве позволят остаться у печки? Поесть как следует и то не дали, всё торопят — скорей, скорей! А потом и вовсе за дверь выставили:

— Опоздаешь в школу!!

Сам виноват. Зачем вчера признался, что нога не болит? Теперь уж ничего не поделаешь, приходится идти.

Эх! А на улице-то вовсе не так темно и небо совсем не такое чёрное, каким оно казалось Миргасиму, когда смотрел на него из окна, из круглого озерка, что продышал на заиндевелом стекле.

Небо уже побелело, и на этом белом небе висит луна, прозрачная, как ледышка. Она тает. В это белое утро деревянные приземистые избы похожи на большие сундуки, обитые серебристой жестью. Над чёрными трубами стоят розовые столбы дыма; кажется, будто они упёрлись в небо и не дают ему упасть на снег.

С каждым шагом снег под ногами Миргасима светлеет, становится нестерпимо белым, боязно даже ступать по такой белизне.

Но людям некогда любоваться снегом, они топчут его галошами, сапогами, валенками. А снег остаётся таким же чистым, только звенит веселей да громче поскрипывает. Особенно остро скрипит снег под палкой Абдракипа-бабая. Куда спешит он? Поднялся на школьное крыльцо, вошёл в школу. Зачем? По Асие соскучился? Но вот и дядя Рустям взбирается по ступеням крыльца, отряхивает веником снег с ноги и тоже входит в школу, следом идут: старшая сестра длинного Темирши, длинная Сакине, тётя Карима... Собрание

родительское сегодня, что ли? Собрание утром? Нет, так не бывает.

— Э, Миргасим! Миргасим выздоровел! — кричат ребята, и с их губ вместе со словами слетают облачка пара, будто слова застывают в воздухе, падают инеем на воротник.

Вдруг две сильные лапы ложатся Миргасиму на грудь. Вот какой он большой стал, Чулпан! Тычется в лицо, поздороваться хочет. А Миргасим ничего не припас ему сегодня, ни свёклы варёной, ни лепёшки. Но Чулпану ласка ведь тоже нужна, правда? Вон как скачет! С ним теперь и не справишься — широкогрудый, сильный. Спина как чёрный шёлк. Блестит, будто маслом смазанная. Опушка у этой шубы серая, пушистая. Уши у Чулпана высокие, всегда насторожённые. Глаза янтарные весело смеются, губы улыбаются. Он и хохотать умеет. Зубы белые, язык розовый, так и норовит лизнуть. Особенно хорош Чулпан, когда сидит, склонив голову набок, и слушает, о чём ребята говорят.

Где Чулпан, там и Асия. На ней бархатная шубка с перламутровыми пуговицами — это бабушкин казакин ей перешили. Ну и плакала она, когда поняла, что зимовать тут без родителей останется. А чем утешилась? Бабушкиной шапочкой старинной. И сейчас на голове у неё эта шитая серебром калфак-шапочка. Любая девчонка не только в деревне, но, должно быть, и в самой Москве позавидует такому убору.

— Шалью покройся,— уговаривает Асию каждое утро Карима-апа, провожая в школу,— холодно, простудишься.

— В Москве зимой никто в шали не ходит, и я не буду.

Сама не слушается, а Чулпана воспитывает строго:

— К ноге!

И он, оставив Миргасима, идёт рядом с ней, будто на цепочке. Каждое слово он понимает. Если бы в классе посидел, может, и читать научился бы, потому что умный. Но хозяйка у него слишком суровая, даже на порог школы не разрешает ступить: приказывает идти домой. И он — вот чудак! — поворачивает и трусит обратно.

Стряхивают школьники снег с обувки, разуваются. У кого белые носки, у кого чёрные, серые... У Миргасима его любимые красные. Неслышно ступая, идут в классы, но учителя ведут

учеников из классов в коридор. Там сегодня стоят скамьи. На скамьях старшие ученики, председатель колхоза дядя Рустям, Абдракип-бабай, Карима-апа и ещё несколько человек взрослых. Впереди скамей маленький столик. Фатыма-апа подходит к этому столу, садится. Такие собрания иногда и прежде бывали, если новость в газетах особенно печальная или если сообщение неожиданное, радостное.

Но сейчас в руках у Фатымы-апа не газета — письмо.

— Письмо тебе, Асия,— говорит учительница.— Помнишь в августе было от папы? Вот и от мамы пришло! Можно, прочитаю вслух?

Фатыма-апа читает, а Миргасим и слушать не хочет. «Всем письма приходят,— думает он,— только не нам!»

Не хочет, а всё же слушает. Чудачка, видно, мать Асии, пишет ей: «...Ты без панамки не загорай, разгорячившись не прыгай сразу в речку. В нашей речке вода холодная...»

Хотел засмеяться, но смех в горле застрял. Летом, значит, мать ей письмо это послала. Где же она теперь? И почему письмо шло так долго?

«У нас стоят совсем прозрачные лунные ночи, и берега вместе со своим отражением кажутся впаянными в стекло. Когда гребёшь, лодка скользит по неподвижной воде, будто конёк по гладкому льду. Слышно только бульканье воды под днищем, лёгкие всплески за кормой да вздохи раненых, которых везу на новую базу вниз по реке...»

Голос Фатымы-апа звучит в ушах Миргасима как во сне.

Сон такой Миргасим видит или на самом деле Фатыма-апа читает вслух такое странное письмо?

Асия сидит, как всегда, прямо, и косички лежат вдоль спины. Если со спины на неё посмотреть, будто ничего и не случилось, будто и не ей это письмо.

— «Девочка, родная, ты умеешь читать по-русски и по-татарски, вот и читай людям письма, газеты. Ты разве не на фронте? Делай что можешь, чтобы облегчить людям горе, беду...»

Миргасим пробрался между скамьями, подошёл поближе к Асие. Зуфер тоже здесь, и Шакире, и Разия.

— «...Каждый человек нашей семьи, ты, папа и я, мы все

трое, при своём деле, на своём месте. Сражаемся каждый на своём фронте, и поверь — мы победим».

На этом письмо обрывалось. Стало так тихо, что Миргасим услышал тиканье часов на руке Фатымы-апа.

Асия была бледна, но спокойна. И это её спокойствие испугало Миргасима.

«Оглохла она, что ли?»

— Эй, Асия! — вдруг закричал он.— Кто победил?

Все так и уставились на него, но Миргасим смотрел только на Асию.

— Я, я победил. Пришло тебе письмо? А кто говорил? Кто обещал: «Письмо будет!»? Ты всё не верила... Я тебе головой и хлебом клялся! Сейчас тоже не веришь? Сама в руки возьми, сама читай.

Дедушка Абдракип, он на задней скамье сидел, поднялся, подошёл к внучке, по голове погладил, поблагодарил Фатыму-апа и пошёл к двери. И другие взрослые тоже пошли, каждый к своей работе. А ребята побежали в свои классы.

Хороший в нашей деревне обычай: и горе и радость — всё сообща переживать.

«Письмо Асие — радость это или горе?» — не мог понять Миргасим, но на всякий случай в этот день не дёргал Асию за косички.

После уроков Фатыма-апа сказала Асие:

— Без шали на улицу не пущу,— и, укутав девочку, закрыла своей шалью шитый серебром калфак.

Асия не спорила.

Вышли из школы, а Чулпан уже здесь! Стоит против крыльца, хвостом работает на полную мощность, а навстречу бежать не смеет — приказа дожидается.

— Асия! — закричал Миргасим.— Дай ему письмо понюхать, пусть с мамой твоей он хоть по запаху познакомится, иначе после войны не пустит её в твой дом.

— Чулпан, иди сюда,— говорит Асия,— понюхай.

Мелкими, старческими шагами подошла к Асие Миргасимова бабушка.

— Мороз не велик,— говорит она,— да стоять не велит. Идём к нам, Асия, детка. Дедушка ждёт. Я поставила чайник в горячую золу, будем чай пить с лепёшками.

Стоя на школьном крыльце, смотрит Миргасим, как дружно идут они — бабушка, Наиля, Асия и рядом с нею Зуфер.

Но где Шакире?

Снег переливается, будто он выложен осколками зеркал; по этому переливчатому снегу бегут две лоснящиеся полосы — следы самодельных лыж, на которых впереди всех летит длинный Темирша.

От пригретых солнцем изб поднимается едва различимый пар, и кажется, будто воздух дрожит над крышами.

Почему Шакире не видно? Неужто в школе осталась? Миргасим заглядывает в школу. Шакире стоит в коридоре у окна.

— Сестрёнка!

Она оборачивается, глаза мокрые, нос красный.

— Ну вот, Асия не плакала, а ты ревёшь...

— Хотела бы я знать, что с нашим папой, где брат Мустафа...

— Каждый хотел бы.

— Этой ночью мне такой страшный сон снился, если бы знал ты.

Фатыма-апа подходит к брату и сестре:

— Я тоже сны вижу. Всякие...

— Эх вы, женщины! Думаете, сны всегда сбываются? Если бы сбывались, я каждый день конфеты ел бы и сливки пил... Вот твой тулуп, Шакире, пошли.

— Идём. Только никому не говори, что я плакала...

Глава тридцать третья

ДЕКАБРЬ — КОРОТКИЕ ДНИ, ДОЛГИЕ НОЧИ...

Да, слишком долги они, зимние ночи. В школу идёшь — темно, из школы приходишь — темно.

Собираются вечерами женщины в избе у Каримы-апа, вяжут шарфы, носки, рукавицы, фуфайки — всё это на фронт, бойцам в подарок.

А девочки приходят к Миргасимовой сестрёнке Шакире. Шьют кисеты, вышивают полотенца и тоже вяжут, вяжут.

В каждый кисет, в рукавичку кладут записку:

«Пусть этот подарок принесёт тебе удачу, товарищ солдат!»

«Привет от пионеров Татарии».

«Мы, школьники из деревни Старое Шаймурзино, даём слово учиться только на «пять» и «четыре». Смерть фашистам! Да здравствует Родина!»

А Миргасим, примостившись у фитилька, читает газеты. Как увидит хорошую весть, выскакивает на улицу:

— Наша Красная Армия освободила город Елец!.. Мы взяли город Истру!

И теперь даже старики, встречая Миргасима, спрашивают:

— Что пишут в газетах, сынок?

— Город Клин опять наш. Ура!.. Волоколамск мы очистили от фашистской нечисти.

Где Волоколамск, что за город такой Елец, никто не знает, и Миргасиму это тоже неизвестно. Не всё ли равно, где находятся эти города? Главное — освободили! От нечисти очистили, врагов потеснили.

Только Асия, случается, послушав эти новости, вытирает глаза носовым платком.

— Ты что, победам не рада? — рассердился однажды Миргасим.

— Если бы ты знал, как это всё от Москвы близко! Ну совсем рядом. На реку Истру мы с мамой и папой, все вместе, купаться ездили, а потом шли в город Истру к друзьям, обедать.— Сказала и начала нос вытирать.— В саду у них дерево было с широкими ветвями — клён. Под этим клёном стоял обеденный стол. Обедаем, бывало, и слушаем, о чём листья клёна говорят.

— Ладно, оставь свой нос в покое! Пообедаешь ещё под тем деревом. И Зуфера позовёшь, должно быть. Город Истру освободили.

— Эх, Миргасим, ты, как увидишь слово «освободили», дальше уже не читаешь. Если бы вчерашнюю газету всю прочитал...

Миргасим опустил глаза. Он читал вчерашнюю газету. Всю. Но говорить о прочитанном не хотелось.

«...Жители сёл и городов Московской области, освобож-



дённых частями Красной Армии, рассказывают о чудовищных зверствах фашистов,— было напечатано в газете.— В деревне Белый Раст фашисты поставили у дерева двенадцатилетнего мальчика Володю Ткачёва и открыли по нему стрельбу из автоматов. Тело Володи было прострелено 21 пулей...»

Да, так напечатано в газете. Двадцать одна пуля пронзила Володю... Эх, какой уж там стол обеденный под клёнами! Людей не щадят, а дерево и подавно не пожалеют. Срубили, раскололи, сожгли, должно быть.

Миргасим взглянул на Асию. Сидит она на сэке, поджав ноги, по-деревенски. Научилась! Не шьёт, не вяжет.

— О чём задумалась? — спрашивает Шакире.

— Новый год скоро...

И девочки пишут бойцам:

«С Новым годом, с новым счастьем, с победой!»

Наиля рисует на этих письмах ёлочки. Но получаются почему-то веники. Трудно художнице, не видала она никогда настоящей ёлки.

Асия рассказывает:

— Вершинка похожа на крест, верхние ветки как поднятые флаги, а нижние — будто флаги спущенные.

Ничего этого Миргасим не слышит, не замечает. Он ищет сегодняшнюю газету. Куда делась, кто взял? Смотрел на столе, под столом, на полке с книгами, на посудной полке, даже в печке искал. А газета оказалась у мамы под подушкой.

Взял Миргасим, развернул и чуть не закричал: «Папа, папа!» Но сдержался.

Молча смотрел он на обведённое траурной рамкой широкое лицо. Низко надвинута серая папаха. В углах губ притаилась улыбка, из-под крутых бровей глядят озорно и пристально зоркие глаза.

Шакире взглянула и заплакала в голос:

— Ата, аткей... Папа, папочка!..

— Глупые вы, глупые,— сказала Асия,— подпись прочитайте!

Но буквы пляшут перед глазами брата и сестры.

— Мужчина ты или нет? — рассердилась на Миргасима Наиля и прочитала вслух: — «Второй кавалерийский корпус пытался с ходу форсировать реку Рузу. Однако рубеж этой реки фашисты хорошо укрепили. Кавалеристы вынуждены были спешиться и прорывать оборону в пешем строю. Здесь в жестоких боях погиб смертью храбрых любимец бойцов боевой кавалерийский начальник, командир корпуса генерал Лев Михайлович Доватор...»

— Как похож он на папу! — всхлипывает Шакире.

— Тоже, должно быть, жена, дети остались,— вздохнула Наиля.

— А конь его как? — спрашивает Миргасим.

— Ну, если «в пешем строю»...

Миргасим идёт за печку, достаёт спрятанный между ящиками с обувью коробок. Там, завёрнутая в белую бумагу, лежит красная лента, тот самый лоскут, что Миргасим подобрал на конном дворе и сохранил на память о коне-огне, о Батыре.

«Почему всадники шли в пешем строю?» — думает он, и сама собою слагается сказка:

«Пали, сражённые, кони лихие... Заморились, некормленные, обморозились, копыта потрескались, сами отощали... А Батыр? Ах, Батыр, Батыр, не на тебе ли скакал сам Доватор, лихой генерал? Нёс генерала конь, пока ноги не подкосились, пока голова не упала на гриву...»

— Нет, нет! — сам перебивает свою сказку Миргасим и придумывает другую:

«Увидал генерал на распутье трёх дорог камень, а на том камне слова высечены:

«Направо пойдёшь — сам погибнешь и коня погубишь, налево — сам жив будешь, а конь погибнет. Прямо пойдёшь — коню жить, а самому голову сложить».

Отпустил коня и пошёл пешим строем. Бился отважно. Одного фашиста разрубит — двое встают, двоих разрубит — четверо встают...»

Бережно свёртывает Миргасим обрывок красной ленты, заворачивает в бумагу, прячет обратно в коробок.

Вот будет радость отцу, когда вернётся!

«Это тебе подарок, аткей,— лента из Батыровой гривы».— «А сам Батыр где?» — спросит отец. И Миргасим ответит: «Батыр воевал и погиб». Да, он погиб, это ясно. Иначе для чего бы конникам воевать пешим строем?

— Миргасим! — зовёт Шакире.— Миргасим, спрячь газету, чтобы мама не увидела.

— Я у неё из-под подушки взял.

— Всё равно спрячь, пусть думает, что газета потерялась.

— Да, так будет лучше,— согласилась Наиля.— Удивительно, как этот генерал на отца вашего похож!

— Давайте поздравим семью Доватора с Новым годом,— предложила Асия и взяла красный карандаш.

— А про семью Панфилова ты позабыла? — отозвался Миргасим.

— Зови их всех сюда, к нам,— вскочила Разия.— Пиши, что картошка хорошо уродилась, до весны хватит. И валенки ребятам ихним сваляем, если приедут.

— Валенки всем? — усомнился Миргасим.— На всех шерсти, пожалуй, теперь не найдёшь. Зима ведь. Пиши, Асия, валенки сваляем, кому необходимо.

— Другим, конечно, тоже обувку подберём,— добавила Шакире,— босые не останутся.

— А куда письмо пошлём? — спохватился Миргасим.— По какому адресу?

— В Москву, маршалу Жукову,— сказала Асия и начала письмо: — «Просим вас, дорогой товарищ Жуков...»

— Может, о нашем отце напишешь? — вздохнул Миргасим.

— Нет. Надоедать нельзя. Нас много. Потерпим.

«Ишь ты! — подумал Миргасим.— Какие слова говорит: «потерпим». А раньше не терпела — чуть что не по ней, кулаками доказывала».

Глава тридцать четвёртая

ВО СНЕ И НАЯВУ

Сны! Для чего они снятся? А как же иначе? Не снились бы сны, никто спать не ложился бы.

Миргасим давно лёг. В комнате тихо, темно, а сна нет и нет. Почему не спится? Потому что Асия обидела.

Она с девчонками что-то к Новому году затевает, луну хотят они зажечь и звёзды.

— Будто без вас звёзды не горят!

— Это не такие,— улыбается Асия.

— Какие тебе ещё? Выдумщица!

— Без выдумки не проживёшь,— встревает Зуфер,— завянешь со скуки.

Почему Асия взяла в игру Зуфера, а Миргасима не взяла? Кому она про листья кленовые говорила, кому о Москве своей рассказывает? Миргасиму. А теперь не Миргасим ей нужен, а Зуфер. И Зианша с ними заодно. Учитель, а с девчонками шепчется...

Собрал Миргасим сегодня утром после школы всю свою ватагу, весь Золотой табун, и поскакали они следом за девчонками, к Насыровым.

— Откройте нам!

Копытами по крыльцу стучали. «И-го-го!» кричали. Не помогло.

Тогда Фаим запел нежным, тонким голосом:

— Отопритеся, отворитеся, я подарок принёс! Ох и вкусный!..

— Раз-зия, Ам-мин-нушка плачет! — крикнул Темирша.

— Наиля-а-а,— стучал в дверь Абдул-Гани,— пусти меня, я замёрз, пусти-и-и! Я маме скажу-у-у-у-у!..

— Асия,— просил Миргасим,— отвори, я тебе луну принёс. Скорей пусти меня, а то я луну разобью!

Дверь отворилась, но вместо Асии на крыльцо вышел Зианша:

— Малыши, зачем шумите? Не мешайте нам, у нас РЕ-ПЕ-ТИ-ЦИ-Я.

— И мы тоже хотим!

— Вы всё это увидите.

— Когда?

— Своевременно или несколько позже.— Сказал и скрылся за дверью.

Миргасим сжал ком снега и швырнул в оконную раму.

— Осторожней,— сказал Фаим,— в стекло попадёшь.

Но Миргасим бросает снежок за снежком, и всё в раму, ни разу не промахнулся. И всё напрасно. В избу не позвали.

— Ладно, припомню я это тебе, Асия! Ты ещё у меня поплачешь...

Но она не испугалась, двери не открыла.

Ворочается Миргасим на постели, не может уснуть. Ну пусть бы свои девчонки не пустили, но Асия! Всех околдовала она, никто ей ни в чём не перечит. Даже Зуфер, даже Зианша. Колдунья, настоящая колдунья!

А не лучше ли будет покинуть навсегда эту заколдованную деревню? Да, он убежит, сейчас же, сию минуту. Медлить нельзя, бежать надо, пока все ещё спят. Бежать, бежать!

Молча он одевается и на цыпочках выходит из дому, садится в санки, отталкивается и летит по улице. Беззвучно вспыхивают снежные огоньки под полозьями. Ого, как расскользились санки! Миновали деревню, скользят по степи, всё дальше, дальше, к самому краю земли. На краю земли снег такой



белый, что кажется синим. По синему снегу ходят серые гуси. Миргасима увидали, закричали, загоготали:

«Ре-ре, пе-пе, ти-ти, тиция! РЕПЕТИЦИЯ!»

Миргасим дёргает вожжи:

«Домой! — хочет завернуть санки.— Домой, домой!»

Куда там! Уцепились гуси клювами за вожжи, впряглись и, широко махая крыльями, побежали. Оторвались от земли, полетели...

«Стойте, погодите!..»

Не слушают, тащат санки между туч, между звёзд.

«Эй, хоть на Луне остановитесь!»

Нет, обогнали Луну, летят дальше. Куда? К зелёной планете, к прекрасной Чулпан.

— Миргасим, Миргасим! — слышит он сквозь облака, сквозь тучи далёкий зов.— Миргаси-и-им!

Кто-то обнимает его, целует. Он дерётся, брыкается, кричит:

— Оставьте меня, дайте сон досмотреть!..

— Правда, оставим его,— гудит чей-то густой голос,— у нас ведь ещё целые сутки впереди!

Кто это говорит? Во сне послышалось или наяву? Почему вдруг задрожал, испугался Миргасим? Где, когда слышал он этот низкий, мягкий голос? Голова кружится, руки слабеют. Миргасим падает, падает, летит вниз кувырком. И вдруг приземляется. Он лежит на зелёном лугу, а вокруг звенят луговые колокольчики. Ах, какой кругом запах! Должно быть, траву скосили, она чуть подсохла на солнце... Но ни гусей, ни санок. Как же вернётся Миргасим с этой зелёной планеты к себе в избу? В ужасе он просыпается.

Терпкий, непривычный, таинственный запах пропитал подушку, одеяло, избу. Затуманились звёзды, ускользнули санки, улетели гуси. И только запах, стойкий, чудесный, ощущается наяву ещё сильнее, чем во сне.

Чем это пахнет?

Миргасим осмотрелся, увидал возле своей постели солдатский вещевой мешок, а рядом с мешком — длинный свёрток, опоясанный верёвкой. Понюхал Миргасим вещевой мешок — нет, не то... Понюхал свёрток — ой! Запах тот самый, что на планете.

«Пахнет слаще земляничного мыла, вкуснее даже, чем леденцы».

В комнате так тихо, что Миргасим слышит, как вздыхает тесто в укрытом шалью горшке.

«Уже подходит. Когда же его поставили? Ночью? А зачем? Говорят, Новый год в нашу деревню поздно вечером придёт, для чего же с утра печку затопили?»

Бабушка сидит, поджав ноги, на сэке. Она сегодня тоже с утра как на праздник нарядилась. На ней новое, ни разу не стиранное платье. Беззвучно шевелятся её губы, в пальцах чётки.

«Почему она молится? Сегодня праздник будет советский, песни надо петь, а не молиться».

Мать, похлопывая ладонью по краю сита, просеивает муку.

«Ура, лепёшки без отрубей испекут!»

Тикают ходики, качается маятник. Маленькая стрелка подошла к семи, большая — к двенадцати.

«Уже семь часов утра, Зуфер и Шакире на репетицию пошли, должно быть. А мама всё ещё дома. Кто подоит за неё коров на ферме? Молодых доярок мама учит: «Ты своих коров знаешь, и коровы знают тебя. Чужим рукам твои коровы молока сполна не отдадут». Почему же сама оставила сегодня своих коров на чужие руки?»

Мука сеется, сеется, выплывают из сита тонкие, прозрачные облака, снегом оседают на доске.

Вот сняла мама шаль с горшка, вывалила тесто на побелевшую от муки доску, сделала круглый шар, прикрыла полотенцем. И начала картошку варёную разминать, лук крошить.

«О-о, значит, не лепёшки это будут — пироги».

Миргасим отбрасывает одеяло:

«Пока я спал, война кончилась, что ли?!»

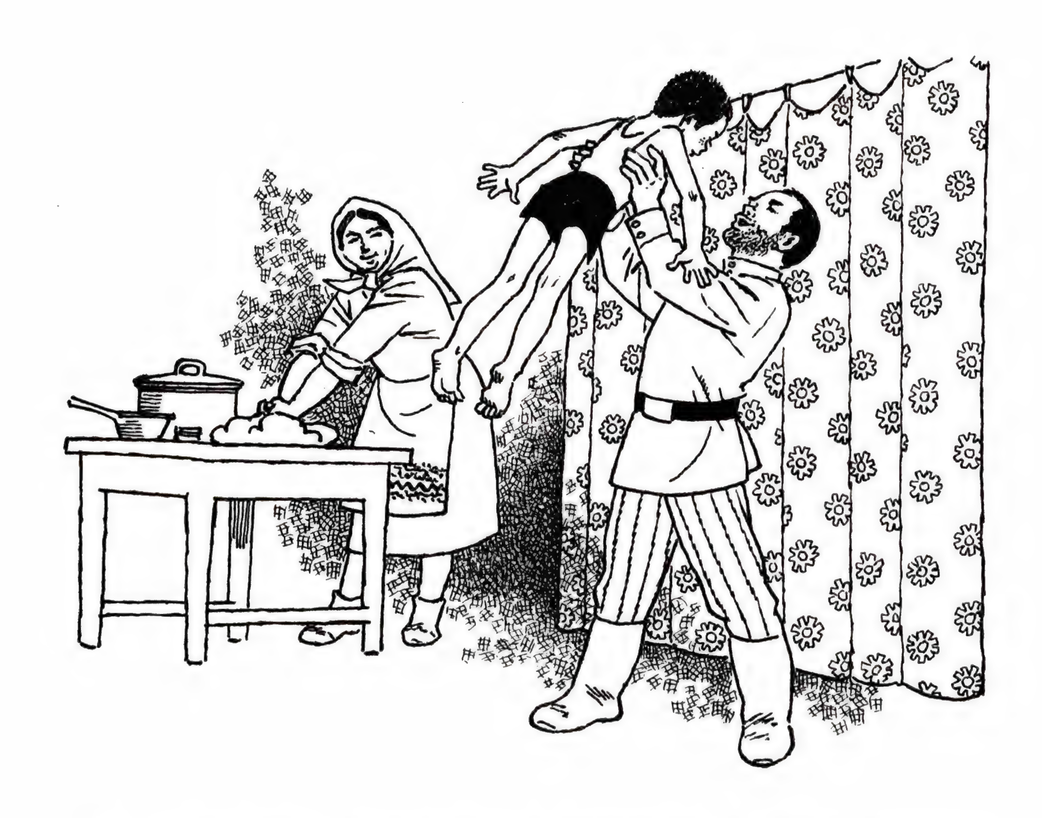
Он вскочил и босой подбежал к столу:

— Мама!

Она приложила припудренный мукою палец к губам, глазами показала на ситцевую занавеску, за которой помещается кровать для гостей, и прошептала чуть слышно:

— Вчера вечером брат Мустафа приехал. Он ещё спит...

— Брат Мустафа? — шёпотом повторяет Миргасим.— Мустафа приехал?



Он замолкает, но только на мгновение и вдруг говорит громко:

— А меня почему не разбудили? Разве ты, мама, не знаешь, я никогда не сплю! Я не спал,— в голосе слышатся слёзы,— не спал, а меня не разбуди-и-и-ли!.. Почему-у-у?

— Потому что уж очень сильно ты брыкался,— услыхал Миргасим густой, низкий голос, тот самый, что слышал во сне. Неужели сны всё-таки сбываются?

Занавеска откинулась, и вышел из-за неё рослый солдат.

Не успел Миргасим опомниться, как солдат подхватил его на руки, подбросил к потолку.

Только оттуда, сверху, увидал Миргасим знакомые узкие горячие глаза, круглый лоб, широкие скулы.

— Брат, милый,— закричал он,— брат Мустафа!!

Повис на шее брата, прижался к колючей, небритой щеке.

— Щека твоя, как тёрка, здорово натирает.

Глава тридцать пятая

БРАТ МУСТАФА

— Ох уж эта репетиция! — сокрушается бабушка.— Всего-то на одни сутки Мустафа приехал, а Зуфер сам убежал и сестру утащил на репетицию!

— Зуфер — настоящий мужчина,— говорит Мустафа,— он поступил правильно. Дело прежде всего.

— Шакире ни за что из дому в такой день не ушла бы, Зуфера побоялась ослушаться. А меня, старую, они не послушали...

— Бабушка, разве не ты всю ночь сердилась: «Почему не спите?» А мы всю ночь об этой репетиции говорили.

«Значит, и Мустафа уже всё знает, только я один ничего не знаю!» — обиделся Миргасим.

— Бритву подать? — спросил он сурово.

— Сперва надо постель свою прибрать,— в тон братишке, также сурово, говорит Мустафа.

Миргасим прибрался, а кстати и умылся и кусок теста со стола стащил, съел.

Мама на Мустафу взглянула, слезу смахнула. Думала, никто не видал. Но разве скроешься от Миргасимовых острых глаз? Подошёл к матери, прижался к ней. И самому на мгновение тоже стало грустно.

«Брат здесь, но где папа? Почему не пишет? Ни одного письма не было».

Мустафа прикрепил ремень к гвоздю. Он направлял бритву, точно как отец. Провёл лезвием по ремню раз, другой, тронул большим пальцем полотно бритвы, бросил на лезвие волосок, волосок разломился.

— Острая! — сказал Миргасим.— Острее даже топора.

Бабушка опустила в чашку щепотку мыльной стружки, плеснула кипятка. Брат взял помазок, вспенил густое мыльное тесто и, глядясь в зеркальце, что висело на стене, принялся накладывать хлопья мыльной пены на шею, подбородок, щёки.

Прежде это зеркальце вместе с бритвой и помазком лежало на дне коробки. Отец ставил его на стол, брился сидя. А Шакире вынула зеркало из коробки, повесила на стену

повыше, чтобы мама гляделась, когда причёсывается. Но мама расчёсывала волосы и заплетала косы не глядясь. А Мустафа теперь вынужден бриться стоя.

Миргасим вытянул шею, встал на цыпочки, следя за каждым движением брата. Давно не работала бритва в этом доме!

Кончил своё дело Мустафа и сразу помолодел. Миргасим провёл рукой по щеке брата:

— Как шёлковая!

— Давай и твою причёску подправлю.

И — раз-раз — покрыл мыльной пеной затылок младшего брата. Раз-раз — провёл бритвой.

Интересно, как работает папина бритва?

Миргасим стремительно обернулся, Мустафа едва успел отдёрнуть руку:

— Не вертись, чёрт возьми!

Даже мама вздрогнула от такого окрика. А бабушка охнула тихонько:

— О Мустафа, внук мой... Избегай злых речей, нет худого слова, нет и обиды.

— Чуть ухо ему не отрезал,— оправдывается старший внук и снова срывается: — Крепче голову держи, дьяволёнок!

Больше никто ничего не говорит. Миргасим сидит словно окаменевший.

«Чёрт возьми» и «дьяволёнок» Мустафа сказал по-русски. Таких слов Миргасим ещё не слыхал. Но по лицу мамы, бабушки он понимает — это нехорошие слова. Мустафа бранился. Приехал и всех обидел. За что?

— Какой ты, братишка, красивый стал! — нарушает тягостное молчание солдат.— Хочешь в зеркало взглянуть?

Миргасим молчит. Он сердится. Мустафа подхватывает, поднимает его. Взглянул в зеркало Миргасим и не может удержаться от смеха — голова, голова-то до чего круглая!

— А зубы ты где растерял? — спросил Мустафа.

— Уже новые нашёл! Не веришь? Пальцем пощупай.

— Нет уж, спасибо: боюсь, откусишь.

— Что ты! Теперь я не кусаюсь.

— Почему же?

— Научился кулаками драться.

И на щеках у обоих братьев заиграли ямочки. У Миргасима только на одной правой щеке, у Мустафы на двух.

— А веснушки почему так побледнели?

— Красивые были, правда? Теперь никуда не годятся. Полиняли. С тех пор как в школу пошёл, слишком часто умываюсь. Почти что каждый день!

— Неужели?

— Иначе нельзя. Я — санитарная комиссия.

— Чего нос наморщил?

— Больно сладко пахнет. Что там, в свёртке?

— То, что зимой и летом одним цветом одето. Угадал?

Где уж тут угадать? Но он не сдаётся:

— А в мешке что?

— «Фонарики-огоньки, золотые светляки, пушки-хлопушки, мельницы-вертушки, уточки, дудочки, караси да удочки, леденцы, бубенцы, два козла, три овцы, орех — больше всех, всем орехам орех! Музыка, танцы, весело, тесно, что кому достанется — неизвестно»[1].

А у самого зубы так и сверкают в улыбке.

«Насмехаться вздумал? Ладно, уйду я от тебя. Оставайся один».

Молча сунул Миргасим ноги в валенки, руки — в рукава шубы, подхватил шапку и хлопнул дверью.

Глава тридцать шестая

ДЛИННЫЙ ЯЗЫК

Выскочил Миргасим на крыльцо, а народу у крыльца собралось — и не сосчитать, человек десять, не меньше.

— Миргасим, это правда, что дядя Мустафа живой вернулся?

— Ноги целы?

— А руки?

Ах, как любит Миргасим поговорить!

— Руки все как есть у него целы, и ноги все на месте.

[1] Стихи Е. Тараховской.

— Насовсем пришёл или на побывку?

— Пришёл, конечно, насовсем, с вещами, с мешком, со свёртком. Плохо ему дома, что ли? Повоевал, и довольно. Пусть другие теперь воюют. Больше всех ему надо, что ли?

Почему все вдруг замолчали? Почему спешат уйти от Миргасимовой избы?

Только ребятишки остались да Абдракип-бабай.

— Эх, Миргасим, Миргасим,— говорит старик,— до чего же язык у тебя длинный! Язык, он, конечно, без костей, но на то зубы даны, чтобы держать его за зубами. А ты своим языком уже и зубы передние вышиб... Для чего болтаешь о том, чего не знаешь? Разве твой брат трус? Дезертир? Подлый человек?

И пошёл в Миргасимову избу. Жаловаться, что ли? На всякий случай Миргасим бежит от избы подальше. Ребята — за ним.

— Тебе дядя Мустафа что к Новому году привёз?

— Что мой брат привёз мне? — И вот длинный язык уже работает, говорит, говорит: — Брат мой Мустафа привёз мне фонарики-огоньки, золотые светляки, пушки-хлопушки, мельницы-вертушки, уточки, дудочки, караси да удочки, два козла, три овцы, орех — больше всех, всем орехам орех! Музыка, танцы, весело, тесно, что кому достанется — неизвестно!

— Врёшь ты, должно быть! — сомневается Фаим.

— А ещё привёз он то, что зимой и летом одним цветом одето.

— Сказать всё можно,— спорит Фаим,— слова денег не стоят.

— Не веришь? — И, прежде чем Миргасим успел подумать, язык уже сработал: — Хочешь, покажу?

Сказал — и сам испугался: «Как это — покажу? А если брат Мустафа скажет «чёрт возьми!»?

— Покажешь? Пошли к нему, ребята!

И вот, когда казалось, уже нет Миргасиму спасения, Фарагат сказал:

— Глядите, Фатыма-апа идёт! На ней шаль новая, красивая...

Она шла не спеша, лицо бледное, ресницы опущены.

«Голова у неё болит, что ли?» — подумал Миргасим, и

пришли ему на память слова песни, что Мустафа весною пел для неё:

Занозил я сердце и пою не для славы...

Глянул на учительницу, но попридержал на этот раз свой язык, не посмел запеть вслух. Подумал:

«Похоже, что у самой теперь заноза в сердце».

Учительница направилась к школе

— Ап-па! — вдруг закричал Темирша.— Ап-па! — и пустился вдогонку, загребая снег длинными ногами в большущих сапогах.— Ап-па! Д-дядя М-м-мустаф-фа приехал. Н-н-на-авсегда. П-п-пускай, г-г-г-оворит, др-руг-г-ие повоюют.

Она обернулась:

— Интересно, где твоё «здравствуйте»?

А голос у неё такой, как был, когда впервые в свой класс вошла. И лицо ну точно как у той учительницы на плакате.

Она взялась уже за скобу школьной двери, но усердный Темирша не отставал:

— Ап-па, м-мы к М-миргасиму ид-дём! Айда с нами! Миргасим не смеет взглянуть на неё.

«Неужели поверила, что Мустафа трус, дезертир, подлый человек?»

Он совсем приуныл, хоть плачь.

«Почему у всех людей язык как язык, а у меня у одного такой длинный?»

— Подождите, мальчики, минутку,— говорит апа и заходит в школу.

Золотистые резные наличники школьных окон отбрасывают на стёкла длинные сизые тени. Тенями исчерчен снег, и на нём то вдруг вспыхнет яркая точка, то погаснет. Это играют лучи света, пробиваясь сквозь щели в плетнях и заборах.

Фатыма-апа вынесла из школы стопку тетрадей:

— Пожалуйста, передайте Наиле, она в библиотеке.

Миргасим берёт тетради:

— Ох, какие тяжёлые! Должно быть, тут полно двоек.

— Нет, они совсем ещё чистые. Быстрее ветра бегите, Наиле белая бумага очень нужна, срочно!

— А п-почему м-мы сегод-дня н-не учим-мся? — интересуется Темирша.

— Потому что в школе малышам сегодня места нет. Там старшеклассники делают снег, развешивают звёзды и луну.

Сказать сказала, будто загадку загадала. Головой кивнула, рукой махнула, ушла и дверь за собой притворила. От сапожек её следы остались на заснежённом крыльце. От слов её удивительных даже Фарагат призадумался, даже Фаим смутился.

— Про звёзды эти и луну я давно слыхал,— вспомнил Миргасим.

— Ну?

— Да я ничего не расслышал, Асия девчонкам на ухо шептала.

— Плохо быть первоклассником,— говорит Фаим,— у каждого от тебя секреты, всякий загадывает тебе загадки.

— Скоро всё разгадается,— пообещал Абдул-Гани,— в библиотеку придём и узнаем.

— Думаешь, Наиля скажет?

— А как же! Брат я ей или нет?

— Не скажет — тетрадей не получит,— решил Миргасим.

Библиотека теперь нисколько не похожа на тот чулан, куда Миргасим заскочил в свой первый школьный день. В окне вместо фанеры стоит стекло, на стенах полки, на полках книги, между полками портреты, картинки. На подоконнике цветы, посреди комнаты стол.

А на столе пакетики, пакетики... Что в них?

Но не успел Абдул-Гани и шагу ступить, как Наиля кинулась к столу, защищая, словно курица цыплят, эти свои пакетики от любопытных глаз.

— К столу не подходите, не смейте! Марш отсюда!

Руки у неё в разноцветных пятнах, одна щека синяя, другая зелёная. На полу, на подоконнике, на скамье — всюду, куда ни глянешь, кисти, банки с водой, листы бумаги, перепачканные краской.

Миргасим высоко над головой поднял пачку тетрадей и, оттолкнув ребят, двинулся к столу.

— Ни шагу дальше,— приказала Наиля.— Положи тетради на пол и уходи.



— Не дадим тетрадей, не уйдём. Сначала покажи пакеты! — Миргасим плечом оттолкнул её от стола, протянул руку к пакетам.

Наиля вдруг подняла банку с водой и плеснула на Миргасима. Ребята подхватили разлетевшиеся тетради, сложили их на полу, как Наиля велела, и убежали. Но Миргасим остался:

— Никуда я не уйду. Я замёрз.

— Ничего! На бегу согреешься,— и вытолкала его за дверь,— беги, догоняй своих.

Глава тридцать седьмая

БУДЬ ЧТО БУДЕТ

— Фатыма-апа к Насыровым спешит,— заметил глазастый Фарагат.— Должно быть, на репетицию.

В эту минуту дверь избы Насыровых отворилась. На крыльцо вышел рослый солдат в ватнике, в стёганых штанах, в валяных сапогах. На голове ушанка с красной звёздочкой.

Увидал Миргасима, подмигнул ему:

— Что такое зимой и летом одним цветом, угадал?

Миргасим только хотел ответить, но Мустафа уже спрыгнул с крыльца и кинулся навстречу учительнице:

— Здравствуйте, апа.

— Здравствуйте...

А мальчишки стоят вокруг и смотрят, и слушают, ждут: о чём сейчас солдат и учительница будут говорить?

Но оба они стоят молча.

— Абдракип-бабай в правление идёт,— сообщает Фарагат.

— Это он насчёт пайка для Асии,— говорит Фаим.

— Я обещал старику помочь,— спохватывается Мустафа,— он заказал телефонный разговор с Казанью.

— Я тоже в Казань насчёт Асии обращалась,— почему-то краснеет Фатыма-апа,— но ответа пока всё ещё нет.

— Надеюсь, просьбу фронтовика без внимания не оставят,— произносит Мустафа.

Миргасим глядит на брата и не поймёт, кто это не должен просьбу его без внимания оставить: телефон? Казань? Фатыма-апа?

Ох, жалобно брат на неё смотрит, на учительницу:

— Я ненадолго. Абдракип-бабай ждёт...

Чулпан подбежал к солдату, тявкнул умильно. Мустафа у Чулпана за ушами почесал, пощекотал под скулой, погладил, похлопал, потормошил и пошёл в правление.

Фатыма-апа поднялась на крыльцо избы Насыровых — высокое оно, крыльцо это, далеко видно отсюда, до самого угла.

Когда Мустафа за угол повернул, пошла Фатыма-апа на репетицию.

А Чулпан остался на улице, стоит, понуря голову, думает: бежать вдогонку за солдатом или остаться тут, дом сторожить?

Подумал-подумал да как припустился! Передние ноги вверх, задние вниз, передние вниз, задние вверх, вверх-вниз, вверх-вниз, собачьим галопом! Скакал-скакал и догнал солдата. Язык высунул, улыбнулся и пошёл степенно, как Асия учила, рядом с ногой.

Миргасим всё это видел, потому что и сам ещё быстрее Чулпана бежал, хотел догнать брата.

Хотел сказать ему: «Длинный мой язык про тебя налгал, милый брат. Сказал мой язык, что ты к нам домой насовсем приехал, пусть другие воюют, а ты останешься...»

Догнал было, да опомнился: «Самое время сейчас, пока Мустафы дома нет, мешок развязать». И повернул к дому.

— Ты домой, а мы?

«Эх, будь что будет!» — решил Миргасим и сказал:

— Айда, Золотой табун! Леденцы, бубенцы, два козла, две овцы! Весело, тесно, что кому достанется — неизвестно...

— И-го-го! — воскликнул Гнедой Абдул-Гани и начал копытом землю рыть.

— Н-но, п-поехали! — стеганул его табунщик Темирша.

Наперегонки с Гнедым скакали резвые лошадки Фаим и Фарагат. Впереди всех летел Миргасим.

Надо спешить, пока Мустафа ещё не вернулся.

«Позволит бабушка мешок развязать? Позволит! Сама рада будет на фонарики-огоньки поглядеть. Уж больно темно вечерами в избе. И свёрток сама развяжет. Она хороший дух любит. У неё в сундуке кусок мыла душистого лежит и ещё флакон с духами — дедушкины подарки».

Бежал Миргасим, бежал, да вдруг и приуныл, шаг замедлил, поплёлся позади всех. Вспомнил — мама дома. Чужой мешок развязать мама ни за что не допустит. А если без спроса? Бранить не станет. Никому она никогда худого слова не сказала. Но случается, и нередко, день-деньской на виноватого не поглядит, ему не улыбнётся. Что поделаешь? Придётся потерпеть. А после, когда ребята уйдут, надо будет прощенья попросить, обещанье дать: «Чтоб меня волки разорвали, если ещё когда-нибудь...» Потом он веником пол подметёт, тряпкой мокрой вытрет, мама увидит — в самом деле исправился! И простит. Однако до Нового года времени совсем мало остаётся. Что, если не выпросишь прощения? Кто под Новый год поссорился, тому ссориться весь год...

«Ну зачем я хвалился? Правду мама говорит: «Сынок, язык твой длинный тебе враг».

— Чего бегал? — оборачивается Фаим. — Ноги к тропе примёрзли или тропа к ногам?

— Держу я тебя, что ли? Иди!

— Это твой дом, ты первый и ступай.

Миргасим шапку поглубже, на самые глаза, надвинул и нырнул в сени, как в прорубь.

Ребята смело за ним. Однако в сенях оробели, даже Фаим притих. Долго, старательно отряхивали веником снег с тулупов и валенок, кто нос чистил, кто откашливался.

Глядя на своих гостей, Миргасим засмеялся:

— РЕ-ПЕ-ТИ-ЦИЯ...

Никто не улыбнулся. Одно дело улица, другое — чужой дом.

«Э, будь что будет!» — повторил сам себе Миргасим и распахнул дверь в горницу.

Глава тридцать восьмая

МИРГАСИМ ПЛАЧЕТ

А в избе, в избе-то и в самом деле «музыка, танцы, весело, тесно, что кому достанется — неизвестно!». Как Миргасим говорил, так оно и случилось. И всё же он глазам своим не может поверить. Почему столько гостей? Будто свадьба. Старики, скрестив ноги на сэке, сидят в своих чёрных чеплашках, а на тахте женщины — светлые косынки, белые фартуки, сборки-оборки, мелкие складочки! У каждой в руках работа. Те, что постарше, с веретёнами пришли, прядут, кто помоложе, вяжут, вышивают, а молодайки младенцев своих забавляют. Мелькают спицы, поют веретёна, пестреют мотки разноцветных ниток, клубки крашеной шерсти — чем не фонарики-огоньки, золотые светляки?

— Смотрите, смотрите, слушайте,— толкает ребят Миргасим,— музыканты пришли!

Скинули музыканты тулупы, взяли в руки свои самодельные скрипки, провели смычком по волосяным струнам. Гармонисты растянули гармоники. О!

Ах, музыканты, музыканты, до чего же вы суровые! Усов ещё нет, вот и приходится хмурить брови, играть строго, без улыбки.

А напротив, у стены, пересмеиваются, то закрываясь рукавом, то взглядывая на музыкантов, девушки в шёлковых косынках. Женщины, глядя на безусых скрипачей и гармонистов, вздыхают, вспоминая своих старших ребят, тех, кто сражается сейчас далеко от родной деревни. Живы ли они, здоровы ли? Когда же будет Гитлеру капут, войне конец?

Музыканты играют, девушки поют:

Галия-Бану, соловушка,
Соловушка мой, Галия-Бану...

Песня старинная, и потому бабушка тоже подпевает приятным, чуть надтреснутым голосом.

Мама не поёт, всё на дверь поглядывает.

— Мустафа куда делся? — слышит Миргасим шёпот женщин.

— В школе,— отвечает мама,— он помогает Фатыме-апа.

— Сердце родителей — в детях, а сердце детей — в степи,— вздыхает Саран-абзей.— Эх, молодые, молодые...

— А ты, агай, молодым не был? — возражает мама.

— Я-то? Нет ещё. Вот выращу Фаима, женю его, тогда и сам буду искать себе невесту, тогда и помолодею... Так ведь в старое время поступали. Верно я говорю, эби?[1] — обратился он к бабушке.

— Верно, верно! Один такой, как ты, старик ко мне, к молодой, сватался. Слава аллаху, сбежала я от этого жениха.

— Айда! — шепчет Миргасим ребятам.

И, скинув у порога обувку, ребята ныряют за печку.

А музыканты играют, а девушки поют:

Галия-Бану, сладкогласый соловей,
Ты томишься, ждёшь кого-то,
Будешь ли когда моей?

Больше всех старается, шире других рот раскрывает, громче всех поёт рослая, широкоплечая Сакине, старшая сестра Темирши. На ней голубое ситцевое платье, пуховая

[1] Эби́ — бабушка.

шаль, красные носки. Щёки тоже красные — свёклой натёрты, брови подмазаны жжёной пробкой.

Музыканты переглянулись и вдруг разом грянули озорную песню.

Ай-ай,
Бибикяй! —

подхватили девушки, и громче всех Сакине:

Бибикяй собой красива,
Пуховая шаль на ней.
На джигита и не взглянет,
Хоть джигит по сердцу ей.
Ай-ай,
Бибикяй!

Музыканты так расшалились, что безусый мальчик-скрипач, глядя на Сакине, запел:

От игры на звонкой скрипке
Уставать мизинец стал.
Ах, на розу ты похожа,
Что в чужом саду видал...

— Скажи лучше «в лесу»,— смеются девушки,— завтра уезжает Сакине в лес... И мы с нею...

— На лесозаготовки?

— Да, мы тоже мобилизованные, как солдаты. Топор и пила чем не оружие?

И музыканты заиграли для девушек-лесорубов лесную песню — «Қара-урман» — «Чёрный лес».

Прибежали в избу девочки Шакире и Асия, разулись только, а верхней одежды не сняли.

— Дайте нам, пожалуйста, несколько простынь. Если есть лишние...

— Лишние? Нет, девочка, лишних нет.

— Все так говорят,— вздохнула Шакире,— но для праздника, для школы, нам обязательно надо принести что-нибудь белое... Асия так хорошо придумала, а выполнить не можем...

— Пелёнки белые не пригодятся ли? — спросила бабушка и достала из сундука узел с пелёнками.

Миргасим едва удержался, чтобы не посмеяться вслух, не крикнуть:

«А как же мои детки?!»

Уж очень досадно было услышать ещё об одном секрете, о чём-то белом... Что бы это могло быть? Для чего?

Фаим, пока о нём все позабыли, уже подкрался к длинному свёртку на полу. Потрогал, понюхал.

— Пахнет вроде сена, только не совсем так,— зашептал он мальчикам,— а внутри ветки, колючие. Должно быть, веники... Для бани. Теперь веника банного не купишь. Дядя говорит, если бы веников в лесу наломать, можно бы много денег нажить. Только лес от нас далеко... Должно быть, Мустафа-солдат наломал где-нибудь в пути, теперь торговать будет...

Девочки услыхали, засмеялись:

— Угадал Фаим, угадал — волка увидел, кошкой назвал.

— Сами ничего не знаете! Знали бы, сказали бы.

— Знаем, знаем мы секрет, мы всё знаем, а ты нет.

Подхватили свёрток с пелёнками, ушли. И, будто на смену им, явились Зуфер и Зианша.

— Вот,— сказал Зуфер,— мешок, и вот оно, это дерево.

«Дерево? — изумился Миргасим.— Зачем Мустафа притащил сюда дерево? Печку мы соломой топим...»

Зианша поднял свёрток на плечо:

— Пошли?

— Погоди, я захвачу наш маленький молоток.

Зуфер заглянул под кровать, выдвинул ящик с инструментами, достал молоток, тот самый, что Мустафа, уходя на войну, Миргасиму подарил. Молоток этот с одного конца тупой — гвозди забивать, другой конец у молотка раздвоенный, как хвост ласточки,— гвозди дёргать.

— О, это инструмент подходящий! — обрадовался Зианша и опустил молоток в карман.

— До скорого свидания! — кивнул ребятишкам Зуфер.— Приходите в школу! — И, подхватив мешок, вышел вместе с Зианшой, который нёс на плече зашитое в холстину дерево.

Фаим тут же сунул ноги в обувку.

— Салям,— сказал он Миргасиму и выскользнул за дверь.

Не глядя на Миргасима, обулся Абдул-Гани, молча последовал за ним Фарагат, только Темирша немного замешкался:

— В-все б-б-будут в шк-к-к-коле, т-только Разз-зия с Аминой д-домма сидит... Эт-то неп-п-пправильно! П-п-п-пойду м-мам-ме скажу, ппусть Р-р-разию отпустит.

Миргасим остался за печкой один.

— Здравствуйте,— услыхал он голос Мустафы.

И сразу, будто в потревоженном улье, зашумело, загудело всё кругом. Все хотят говорить с солдатом — кто новости спешит узнать, кто торопится о здешних делах рассказать. Одни тянутся солдата обнять, другие поцеловать...

— Скажи, солдат, скажи, друг,— говорит Абдракип-бабай,— будет ли этой войне конец?

— Боже, не оставь нас! — вздохнула бабушка.— Мы люди простые, если в чём провинились, отпусти нам грехи наши...

— Нет, бабушка,— возразил Мустафа,— есть грехи, которые простить нельзя.

Миргасим прижал руки к груди. Ему казалось, что сердце стучит слишком громко, громче даже, чем стучал когда-то кузнечный молот дяди Насыра.

Музыканты позабыли о чае. Стынет чай в широких чашках, не тронуты лепёшки.

— Я тоже в армию иду,— сказал скрипач, тот самый, что пел песни длинной Сакине,— уже повестку получил.

— И нам ждать недолго,— отозвался гармонист.— Говорят, весной и наш черёд.

Мустафа расстегнул гимнастёрку, вытащил из-за пазухи вязаный детский башмачок и ещё игрушечного петушка с оторванной головой.

— Видите?

Прячась за печкой, Миргасим смотрел во все глаза.

— Это я по дороге подобрал,— говорил Мустафа,— по той дороге, которая вела к песчаному карьеру. Туда фашисты гнали толпу женщин, детей. Младенцев матери на руках несли. Кого постарше, за руку вели. Ну, мы, когда городишко этот заняли, расстрелянных этих увидали... Был там мальчик один — ну точно наш Миргасим, курносый,

черноглазый... Он ещё тёплый был. Спасти не удалось...

В комнате стало так тихо, что Миргасиму показалось, будто он оглох. Всё видит, но ничего не слышит. Но вот, словно из далёкой дали, снова зазвучал голос Мустафы.

— Дедушка Абдракип спрашивает, когда войне конец. Когда разобьём, когда победим этих гадов. Они не только наши враги, они враги всех людей на земле.

Старики смотрели на Мустафу разинув рот, как дети.

А Мустафа сидел сгорбившись, сощурившись, как старик. Но ещё старше Мустафы, старше бабушки, старше всех была в эту минуту мама.

— Ладно уж, хватит, сынок,— сказала она Мустафе,— иди в школу. Иди и передай это от меня Фатыме.— Она подала пирог, завёрнутый в полотенце с красными концами.

Мустафа взял узелок и сам стал красный, такой, как концы полотенца. Он опустил глаза и прошептал чуть слышно:

— Мама... Спасибо, мама!

И мама тоже на мгновение порозовела, посветлела.

— А как же иначе, сынок? Она мне всё равно что дочь...

Мустафа ушёл.

Постепенно один за другим стали прощаться гости.

— Надо и нам, Бике милая, собираться,— сказала бабушка.— Рустям, председатель, болен. Будет он в обиде, если к нему не зайдём.

— Да, надо пойти. Смотри, аби, Рустямова жена курицу варёную принесла. Это, говорит, солдату в дорогу...

— А солдат наш у председателя был?

— Придёт попрощаться.

Погасили огонь, хлопнула дверь. Ушли.

Миргасим один-одинёшенек остался в тёмной избе.

Да, темным-темно... Как в яме. В глубокой яме лежит он, ещё тёплый, ещё дышит. Если услышат его дыхание фашисты, придут, убьют.

«Где твой брат, говори! Отец где?» Но Миргасим ни слова не сказал. И бросили его в чёрную яму. Неужели никогда, никогда не увидит он неба, солнца?

Кто это всхлипнул? Неужели Миргасим? А то кто же! Кому по нём плакать, если не самому? А слёзы текут и текут. Он слизывает их языком с уголков губ.

«Не плачь, не горюй, скажи волшебные слова»,— говорит себе Миргасим и бормочет:

— Ашенгерби, шууптрахман, гюльгюльорда...

И вот уже не мальчик он, а Камыр-батыр. Он встаёт на свои крепкие, как два дуба, ноги, выходит из ямы, расправляет плечи. Берёт тугой лук, натягивает сплетённую из конского волоса тетиву, спускает во тьму медную литую трёхгранную стрелу.

И тьма раскалывается.

Открывается дверь, в избу входит Абдул-Гани.

— Миргасим, ты здесь? Эй, проснись!

— Чего надо?

— Сейчас же собирайся в школу. Дядя Мустафа велел.

Глава тридцать девятая

АПИПЭ

Парты сдвинуты в угол, закрыты, завешены белыми простынями, пелёнками, будто белые сугробы притаились в углу. Из-за сугробов бежит по потолку усеянная звёздами Небесная река. А между звёзд качается луна.

Под луной, на одетом белой бумагой столе, на этом белом заснежённом холме, стоит ёлка! Живая, настоящая.

Миргасим втягивает в себя воздух, он верит себе и не верит, он вспоминает тот удивительный свежий запах, который разбудил его сегодня поутру. Значит, это был запах дерева, не виданного здесь никогда прежде, запах никому здесь не ведомой ели. Туго скрученная, связанная, лежала она в избе на полу, как пленница. А сейчас ель широко распахнула свои руки с зелёными пальцами. На кончиках пальцев она держит тонкие, как спички, свечи, на свечах потрескивают живые огоньки.

Вокруг ёлки кружатся девочки в белых марлевых юбочках. На голове серебряная корона, в косах стеклянные бусины и хлопья белой ваты.

Брат Мустафа играет на гармошке, а девочки пляшут и поют:

Мы, белые снежиночки, собралися сюда...

Миргасим толкает Абдула-Гани:

— Смотри, длинная Разия как пляшет! Не снежинка она — сосулька.

— Сосулька тоже годится,— отозвался Абдул-Гани.

А сама сосулька сияет, сверкает от радости. То и дело хватается она то одной, то другой рукой за свою корону — не слетела ли?

— Осторожнее пляши, осторожнее! — кричит ей Миргасим.— А то зазвенишь и рассыплешься...

Мустафа подошёл к нему, обнял:

— Хорошо? Нравится?

— Это и есть репетиция, да?

— Нет, репетиция днём была. Репетиция — это повторение, а сейчас идёт выступление.

— Понимаю, понимаю — сабантуй![1] Это как летом в покос. Но в этом году не праздновали, не смеялись...

— Когда война кончится, такой сабантуй в честь победы будет, что не увидишь лица без улыбки.

— Честное пионерское?

— Честное комсомольское!

Снежинки кончили плясать, на скамейку сели, и сосулька Разия с ними. Теперь подошёл к ёлке Зианша. На нём длинная-длинная шуба Абдракипа-бабая и шапка, из которой торчат клочья ваты. Мало этого: ему ещё ватные брови, усы и бороду сделали.

— Я Старый год,— сказал Зианша,— год уходящий, все горести с собой уносящий. За собой я год новый веду, счастья желаю вам в новом году.

И правда привёл! Знаете кого? Аминэ, Аминушку маленькую!

Держась за подол Зианши, она ступала обутыми в белые валенки ножками. Когда к ёлке подошли, Зианша поднял её, и она сама, своей ручонкой, золотой орешек сорвала.

А летом только и умела по траве ползать да пяточку в рот запихивать. Вот как она поумнела! Дядя Сабир с войны придёт, дочку свою младшую и не узнает.

[1] Сабанту́й — весёлое празднество с играми, плясками, состязаниями.

Зианша посадил Аминушку на плечо и вынес из класса. Снежинки и Разия-сосулька тоже ушли, а вскоре все вернулись, только уже не Снежинками, а девочками.

Мустафа заиграл весёлый танец апипэ. Девочки прихватили двумя пальцами края своих нарядных фартучков и пошли, притопывая и напевая:

— Девочки, девочки,
Пойдём танцевать!
— Ты не хочешь?
Я хочу,
Я буду плясать!

Впереди всех тоненькая, как пруток ивовый, Шакире. Мелко-мелко перебирает ногами, будто не по полу идёт, а по льду скользит. С ресниц сыплются искры, а брови — натянутый лук. Смотрит на неё Миргасим, словно никогда и не видывал сестру свою прежде. Лучше всех у него сестра, лучше всех! Руки у неё большие, красные — это потому, что Шакире и бельё стирает, и полы моет, и снег во дворе убирает: маму она жалеет, всю домашнюю работу на себя взяла. Вот какие у Шакире добрые руки. Эх, досадно, не видит мама, как дочка пляшет красиво! Лучше всех, лучше всех!

Следом за Шакире, повторяя каждое движение, семенит Асия. Как она ловко, быстро наш танец деревенский переняла! За нею едва поспевает Наиля. Другие девочки тоже отстать не хотят, стараются. Разия то и дело обтирает лицо вышитым носовым платком. Должно быть, Карима-апа вышивала. Сама-то Разия не больно мастерица, а вот работы Каримы-апа по всей деревне известны.

Мальчики пошли навстречу девочкам, руки за спину заложили, ногами топают, настоящие джигиты! Не поверишь, что наши они, деревенские, уж больно лихо пляшут. А поют как громко!

Чтоб апипэ проплясать,
Нужен нам железный пол,
На полу должен стоять
Серебряный стол...



Дальше в песне поётся о том, какие яства вкусные стоят на этом столе: ватрушки с мясом — беляши, блины с картошкой — костромбеи, и мёд, и каймак... Но самое главное угощение — рыба. Красная рыба — балык.

— Будет всё это, будет,— смеётся Мустафа.— Вот соберёмся когда-нибудь после войны...

И он тоже подхватывает песню.

Поправляя на ходу свои косы, танцевала с девочками Фатыма-апа. Косынка слетела с головы и повисла на ёлке, как маленький голубой флаг.

Чтоб рыбу разрезать,
Ножик острый надо взять.
В руку нож берёт джигит,
Он в боях был знаменит.

Мустафа сорвался со стула и, не выпуская гармоники из рук, подлетел к Фатыме-апа и пошёл, пошёл выбивать ногами апипэ. Узкие чёрные горячие глаза его искали взгляда учительницы, но Фатыма-апа танцевала, чуть склонив голову, не поднимая ресниц, и двигалась робко, словно нехотя, совсем иначе, чем плясала с девочками, когда даже косынку потеряла.

Пожалей меня, Саджида, дружок,—

запел Миргасим.

Дай на память мне голубой платок...

Но брат Мустафа будто и не слышал. Фатыма-апа тоже в ответ ни слова.

«Скажу, скажу бабушке! — сердится, сам не зная почему, Миргасим.— Скажу: учительница была на празднике с открытой головой, без косынки...»

Он выбежал из круга, стал на руки и вверх ногами ворвался в круг танцующих.

Девочки кинулись в разные стороны, испугались, что Миргасим своими пятками заденет платье, а праздничная

одежда так хорошо отстирана, а главное — тщательно отутюжена...

Шакире схватила Миргасима за подол рубахи:

— Сейчас же встань!

Он встал — Шакире заставила,— но не успокоился. Заложил два пальца в рот и так засвистал, что девочки уши зажали.

Не по его ли это свисту дверь внезапно отворилась, и в комнату вошёл бородатый старик с мешком за плечами? На голове — высокая шапка, в руках — посох.

Миргасим даже вздрогнул, но вгляделся и засмеялся:

— Смотрите, смотрите, у него мочалка вместо бороды, а на голове из бабушкиного сундука дедушки нашего шапка!

Шакире чуть не плакала:

— Замолчишь ли ты, Миргасим?

Замолчать? Вот ещё, как бы не так! Миргасим ведь добился своего: брат Мустафа уже не смотрит на учительницу, он глядит только на Миргасима и смеётся!

— Эй,— звенел Миргасим,— э-эй, бабай! Зачем этот солдатский мешок у брата Мустафы украл?

— Что ты говоришь? — возмутилась Шакире и дала ему шлепка.— Не стыдно тебе? Дед Мороз не может украсть.

— Какой он тебе дед? Это брат Зуфер, не видишь ты, что ли? Эй, бабай, темеке бар? Махорка есть? А спички? Угости!

Шакире хлопает братишку уже по-настоящему. Неужели подерутся? На ёлке! Спасибо, Зианша выручил. Он сбросил с себя шубу Абдракипа-бабая, шубу Старого года, и снова стал молодой, всем знакомый мальчик, рыжеволосый, большеухий.

На нём полосатые брюки, чёрный пиджак, белая рубашка и галстук.

— Ишь вырядился! — замечает Миргасим.— Как доктор из больницы.

— Доктором я ещё не стал,— спокойно отвечает Зианша,— но ты забыл, Миргасим, что я учитель. И учеников своих в обиду не дам. Учти это.

Зианша взял свою ученицу Шакире за руку, увёл по-

дальше от Миргасима, к окну. Там они и остались стоять — рука в руке.

«Уроки он у неё спрашивает, что ли?» — улыбнулся Миргасим, но вслух посмеяться не посмел.

Глава сороковая

ПАСТУХ И ТКАЧИХА

Вот уже и погасла ёлочка. Фатыма-апа и Мустафа каждую свечу сами задули, чтобы лапы ёлки не загорелись, чтобы пожаром праздник не кончился.

— В Москве,— сказала Асия,— электрические лампочки горят до конца праздника, но свечки мне больше понравились, они как живые: огоньки колышутся и фитилёк шипит, будто дышит.

— Кончим войну, и у нас будет электричество,— возразил Зуфер — Дед Мороз.— Видишь? — И показал ей шнур и лампочку, свисавшую с потолка.

Лампочка была как пустая склянка из-под лекарства, никому не нужный пузырёк, подвешенный к потолку.

— Брат Мустафа здесь сам проводку делал,— говорил Асие Зуфер,— да война началась, и подключить не пришлось.

Чиркнул спичкой, поджёг фитиль керосиновой лампы, дохнул на стекло, надел его на горелку, и засияла лампа, будто комнатное солнце.

Ребята зажмурились сначала, а потом смотрели на свет, глаз отвести не хотелось. Дома-то вечерами теперь только масляные коптилки мигают-коптят. Керосин беречь приходится, его по карточкам дают, да и то не каждому, а тем, кому это нужнее: учителям, счетоводу, фельдшеру...

В непривычном ярком свете большой керосиновой лампы ёлочка с погасшими свечами сразу сделалась маленькой, тёмной... Звёзды на её мохнатых лапах тоже потускнели — это, оказывается, просто бумага подкрашенная; огненные бусинки — ягоды шиповника; золотые корзиночки сплетены из соломы; вместо птиц качаются на нитках катушки с бумажными крыльями.

«Ты, ёлочка, и в таком наряде хороша»,— подумал Миргасим и протянул руку чтобы погладить мохнатую ветку:

— Ой, ну и колючие у тебя листья!

Асия сказала:

— Это не листья, это ХВОЯ.

— Ха-ха-ха! Как ты сказала? Квоя, да? Квоя? Хо-хо...

Но на самом деле Миргасиму было не до смеха, потому что Зуфер — Дед Мороз уже развязал свой вещмешок и принялся раздавать подарки.

Пакеты склеены из белой бумаги в клетку и в полоску. Обыкновенная, простая школьная бумага. Но как она разрисована! Вот зачем, значит, нужны были Наиле тетради, вот почему была она сама вся пёстрая, в пятнах краски, когда не пустила мальчиков в библиотеку.

Все близко-близко подошли к Деду Морозу, теперь можно было хорошенько разглядеть, как он разукрашен: красный нос, седая борода! Где паклю достали такую чистую, мягкую, кудрявую? А сапоги как в снегу. Снег не тускнеет, не тает. Почему? Ведь в комнате так жарко! Фаим тронул пальцем этот волшебный снег, Темирша понюхал, Абдул-Гани одну снежинку отколупнул, Фарагат хотел эту снежинку попробовать на зуб, да пока пальцами мял, она и рассыпалась, остался на ладони тонкий белый след, будто щепотка соли.

Вот уже и Абдул-Гани, и Фаим, и Фарагат — все, все ребята получили по нарядному пакетику. Только Миргасим стоит в стороне, спрятавшись за ёлкой.

«Зачем, для чего я над Дедом Морозом посмеялся? Не даст он мне теперь подарка, ни за что не даст...»

Асие вместе с пакетом Дед Мороз вручил тетрадь и три карандаша. Асия смутилась:

— Почему только мне одной тетрадь и карандаши?

— Это премия. За то, что Снежинок плясать научила.

— А себе почему не взял премию?

— Мне за что?

— За небо, звёзды и луну.

— Я тут ни при чём, просто был в руках молоток.

«Мой, мой он, этот молоток!» — хотел крикнуть Миргасим, да не посмел. Учителя, Зианшу-абыя, побоялся.

Небо, звёзды и луна в самом деле здорово, хорошо получились. Даже реку небесную Зуфер нарисовал! Растёр ладонью меловую полосу по синей бумаге, вот и получилась река — Млечный Путь. А где же Пастух и Ткачиха?

Бережно, осторожно, чтобы не испортить картинку, открывают гости полученные в подарок пакетики. В каждом по два леденца, по два пряника, четыре очищенные морковки и конопляные семечки.

— Пряники? — изумился толстый Фарагат, откусил и завопил: — Настоящие пряники!

— Правду, значит, Миргасим говорил,— сказал Абдул-Гани,— чистую правду. Вот они, леденцы-бубенцы...

— А три козла, две овцы? — засмеялся Фаим.

— Там же, где веники твои берёзовые.

— Миргасим,— зовёт брат Мустафа,— Миргаси-им!.. Куда он делся? Иди, получи свой подарок.

«Ну, уж если старший брат приглашает,— улыбнулся Миргасим,— то Зуфера мне бояться нечего».

Он смело выскочил из своего убежища, подошёл к Зуферу:

— Кто победил? Я победил! Давай пакет!

— Дать-то я тебе дам! — шипит Дед Мороз сквозь седые усы.— Вот уедет брат Мустафа, тогда я так тебе дам, что не скоро забудешь.

Но громко он говорит другое:

— Получи, мальчик, от старого деда подарок на Новый год,— и даёт Миргасиму пакетик с удивительным цветком.

Один лепесток голубой, другой розовый, третий белый, четвёртый малиновый и лиловая серединка. Пёстрый, как радуга, цветок! Такой пакет и разорвать-то жалко.

Молодец Наиля, здорово пакеты она разукрасила!

— Ой! — ужаснулся Фаим, взглянув на Миргасимов пакетик.— Ах, ах, Миргасиму досталась девчонская картинка! — И он высоко, как флаг, поднимает свой пакет.

Здесь нарисован боец в чёрной бурке, с саблей наголо. Он скачет по степи на красном коне.

Миргасим с досады швырнул пакет на пол. Пакет упал цветком вниз, а на другой стороне, оказывается, самолёт нарисован! Серебряный самолёт с золотым пропеллером и красными звёздами на крыльях!

— Вот тебе и девчонская картинка! А что у тебя на обороте? Покажи!

Фаим не показывает, потому что там нарисован гриб, хоть и красной краской раскрашен, а всё же только гриб...

— Не огорчайся, Фаим,— утешает Наиля,— завтра мы из этого гриба дзот сделаем. Завтра что хочешь нарисую. Но сегодня больше не могу, рука устала.

— Какая ты хорошая, Наиля! — говорит Миргасим, любуясь самолётиком.— Хочешь, возьми у меня самую большую морковку.

— Спасибо. Я сегодня днём и так две лишних съела, когда пакеты клеила.

Хруст слышится со всех сторон, будто это зайцы собрались у зелёной ёлочки, у той самой, что зимой и летом одним цветом одета.

Только Асия не грызла морковь, не щёлкала семечки, даже пряника не откусила, леденца не попробовала.

Она стояла, прислонившись к белому сугробу-простыне. Под простынёй углами торчали рёбра парт. Асия хотя и сняла наряд Снежинки, но корону на своих волосах оставила. Летом глаза у неё блестели, как новые пуговицы, но теперь показались они Миргасиму похожими на два озерка. Он подошёл к ней:

— Что, в Москве, скажешь, лучше?

— Нет, здесь тоже хорошо.

— А почему глаза мокрые?

Тут появился Зуфер. Он успел снять бороду, красный нос, тулуп и шапку. Только на сапогах всё ещё сверкали блёстки.

— Асия, какой подарок тебе Дед Мороз подарил? — спросил он, наклонясь к ней.

— Ты дал ей тетрадку толстую и три карандаша! Не помнишь, что ли?

Зуфер взглянул на Миргасима, и тот сразу под парту залез. Здесь тоже интересно: темно, как в пещере, а сверху белые завесы — это сыплет белый снег. Снег сыплет, следы засыплет... И никто никогда не узнает, что жил на земле мальчик по имени Миргасим. Имя это редкое, ни у кого в деревне нет такого имени. И мальчик тоже удивительный — живёт в пещере, и не видит его никто. Но, невидимый, сам-

то он всех видит, потому что в белом полотнище есть оконце — маленькое круглое, прожжённое утюгом отверстие. И напротив этого окошка бежит по стене к потолку небесная река. Но кто те двое, что стоят на разных её берегах? Тихим светом мерцает корона на волосах женщины. Звёзды блещут на сапогах мужчины. Кто это?

«Неужели Пастух и Ткачиха? — думает Миргасим.— Не иначе, как сошли они сегодня с неба, чтобы встретить праздник здесь, у этой ёлки, при ярком свете керосиновой лампы».

— Хороший у тебя почерк,— произносит Ткачиха, рассматривая обложку тетради,— красиво подписано, будто напечатано.

— Всякий этак сумеет,— отвечает Пастух,— стоит только захотеть.

— Да, ты всё можешь, всё умеешь,— отзывается Ткачиха и, чуть склонив голову с короной, читает шёпотом надпись на тетради: — «Буду другом твоим в беде, товарищем в радости».

— Поняла? Это дневник. Скучно тебе — возьми карандаш, пиши. Весело — тоже пиши. Привыкнешь, вот и будет тетрадь эта твоим верным товарищем.

— А ты сам пишешь?

Зуфер сделался красный, как свёкла.

— Пишу.— Он вытащил из-за пазухи большой самодельный конверт, в котором лежала самодельная книжка.— Почитай на досуге, если интересно.

И положил конверт с книгой на пол к её ногам.

«Седьмой день седьмого лунного месяца сегодня, что ли? — размышляет Миргасим.— Нет, этот день летом бывает, когда Пастух с Ткачихой на небе встречаются... А на земле, значит, и зимой могут встретиться? Это потому, должно быть, что брат Мустафа ёлку привёз... Интересно, есть у ёлки семена? Собрать бы да посадить вокруг деревни».

Глава сорок первая

БРАТЬЯ

Снег на улице потеплел, стал мягкий, как вата. Он проваливается под ногой и потому весь в ямках, тёмных, как чернильные кляксы на белой бумаге. Над снегом чёрным парусом стоит небо, и оттуда, сверху, глядят на Миргасима тысячи звёзд.

Ребята убежали далеко вперёд. Должно быть, они уже дома. Но Миргасим всё ещё стоит у школьного крыльца и смотрит на звёзды. Он ждёт брата, Мустафу.

А Чулпану что надо? Почему он здесь?

— Иди домой! — приказал Миргасим.

Но Чулпан постучал хвостом по ступенькам крыльца, а сам не двинулся с места.

— Мустафу дожидаешься?

Даже если бы и умел говорить Чулпан, вряд ли смог бы он рассказать о таинственной силе, что неудержимо влекла его к солдату. Может, это запах кожаного ремня, что опоясал солдатскую гимнастёрку? Или это голос солдата, такой густой, молодой и властный? А может быть, руки? Крепкие солдатские руки, которые умеют так строго похлопать по спине и так ласково почесать за ухом...

Да, оба они — Миргасим и Чулпан — ждут.

Но когда отворилась школьная дверь, Чулпан кинулся к долгожданному солдату, а Миргасим отпрянул, потому что увидал Фатыму-апа. В руке у неё мамин пирог, завёрнутый в полотенце с красными концами.

Долго смотрел Миргасим вслед, как идут они под звёздным небом — учительница, солдат и пёс Чулпан. Куда путь их лежит, известно. Миргасим вздохнул и помчался туда же короткой дорогой, через чужие плетни и заборы. Вот и они, так хорошо знакомые ворота и столб, на котором сидел летним вечером Миргасим, когда брат его поцеловал Фатыму-апа. Взбираясь сейчас на обледеневший, холодный, скользкий столб, Миргасим повторял про себя поговорку: «Помни это — зима не лето». Однако всё-таки взобрался и ещё издали увидал Мустафу и учительницу. Они шли, взявшись за руки, как маленькие.

— Иди домой,— услышал он голос брата и чуть было со столба не грохнулся: неужели Мустафа увидел его? Но, оказывается, не ему, а Чулпану дан был приказ.

Тявкнул Чулпан разок, другой и убежал.

Фатыма-апа и Мустафа взошли на крыльцо, хлопнула дверь в сенях, и через мгновение налилось светом заснежённое окно. Да, надо было помнить это, что зима не лето. Кто же зимой будет беседовать на улице, холодно ведь! Спустился Миргасим вниз, подошёл к окну. Разве что-нибудь увидишь? Почему иней оседает на окнах изнутри, а не снаружи? Из комнаты можно дыханием прочистить глазок на стекле, а снаружи невозможно, сколько ни дуй.

«А вообще-то зачем подглядывать? — подумал Миргасим.— Не лучше ли будет постучаться и войти, посидеть с ними? Пирога поесть?»

Миргасим снял рукавицы, хотел было в окно стукнуть согнутым пальцем, да почему-то раздумал, застыдился.

«Пойду уж»,— вздохнул он.

Но тут дверь отворилась, на крыльцо вышел брат и за ним учительница.

Миргасим прижался к стене, даже рукавицы подобрать со снега не успел.

Мустафа и Фатыма-апа постояли, помолчали. Молча за руки взялись, обнялись... Потом словно друг от друга оторвались, расстались. Но нет, опять друг на друга поглядели, снова руки друг другу протянули, друг к другу прильнули.

«Кашлянуть, что ли? — думает Миргасим.— Если этак они прощаться будут, нос у меня отмёрзнет...»

Но кашлять не пришлось. Фатыма-апа вернулась в свой дом, а Мустафа пошёл своей дорогой.

«К председателю теперь»,— решил Миргасим, забежал вперёд и встал на пути старшего брата.

— Полуночничаешь, не спишь? — как будто даже обрадовался Мустафа; взял в свою жёсткую, крепкую руку пальцы Миргасима.— Холодные какие, ну прямо ледышки! А рукавицы где?

— Потерял.— И сразу вспомнил, что бросил их у крыльца, когда хотел в окно к Фатыме-апа постучать.

Давно не держал Мустафа в своей руке руку ребёнка.



Какие тонкие пальцы, узкая ладошка! Согрелась рука, и было похоже, что в кулаке солдата нашла приют маленькая птичка.

Обогрелась и упорхнула.

Миргасим поднял руку, показал на звёзды:

— Гляди, как сверкают Семеро Братьев.

— Бывало, ночью на фронте смотрел на них. Вспоминал наш дом...

— А как там, у вас на фронте, отец? Почему писем нам не пишет?

— Думаешь, мы с отцом вместе? Нет, братишка. Фронт у нас не один. Кругом война. Должно быть, отец на другом фронте.

Помолчали. Снег под ногами мягкий, и шагов не слышно, будто шагают двое братьев не по заснежённой земле, но по облакам. Идут навстречу семерым звёздным братьям.

— Брат, ты на Фатыме-апа женишься?

— Сегодня на рассвете должен отбыть в свою часть.

— А зачем весной песни пел? Кто поёт, тот женится, всегда у нас так.

— Хотя мы с ней вместе и дня не побыли, считай, что женаты. Запомнишь мои слова?

— Клянусь Семью Братьями, запомню! Чтоб меня разорвало, если позабуду!

Миргасим опять взглядывает на звёзды — никогда, кажется, не видал он таких грозных ярких звёзд. И самые крупные — Семеро Братьев. Великаны! Видят ли они затерявшуюся среди сугробов деревеньку, слышат ли клятву деревенского мальчика?

— Клянусь, Мустафа, звёздами клянусь! Но ты напиши ей, чтобы она не так часто ставила мне плохие отметки.

Глянули друг на друга и засмеялись.

Мустафа снял с головы ушанку, открепил красную пятиконечную звёздочку, приколол её к шапке Миргасима.

— Пусть и днём и ночью эта звезда тебе светит.

— О Мустафа... Чёрт возьми!

— Прости, братишка, если утром что не так сказал.

— Язык длинный, да?

— Запомни, худо, когда у мужчины длинный язык.

Миргасим старается шагать в ногу с Мустафой, но ему это плохо удаётся: очень длинные стали у Мустафы ноги.

— К председателю пойдёшь? Ладно, ярар,— по-взрослому говорит Миргасим,— иди. Он тоже воевал.

...Розвальни давно уже стоят у плетня. Их запорошил снег, и лошадь в инее. Совсем она седая.

Миргасим стряхнул снег с мешковины, которой покрыта солома, проверил, хорошо ли, ровно ли солома уложена.

Лошадь жуёт, мотая головой, похрустывает овёс, насыпанный в торбу.

Миргасим вынул из кармана свой ёлочный мешочек, взглянул на цветок, на самолёт, заглянул внутрь. В пакете остались всего один леденец и надкушенный пряник.

«Жаль, что я так много съел».

Снял Миргасим свой красный кушак, завязал в него бумажный мешочек и сунул этот гостинец в солому.

«Что ещё подарить милому брату? Может быть, ленту из гривы Батыра? Нет. Это отцу. Отец Батыра любил!»

Вдруг из-за сугроба вынырнул Чулпан. Чёрный, большущий! Испугаешься, если его не знаешь. И Асия тут:

— Миргасим, хочу отдать Чулпана твоему брату Мустафе. Ты согласен?

Ещё бы! Все говорят: Чулпан — собака не простая, породистая, если её выучить, она здорово будет бойцам помогать.

— За это, Асия, когда война кончится, я женюсь на тебе. Что глаза выпучила? Не веришь? Пусть язык мой отсохнет, если обману!

— Это невозможно, Миргасим. Я уже дала слово твоему брату Зуферу.

— Вот он где! — послышался голос Шакире, и она подбежала к братишке: — Почему сразу домой не пошёл? Почему всех заставляешь беспокоиться?

«Почему, почему...» Но Миргасим молчит.

Как скажешь о прощании Мустафы с Фатымой-апа? О снеге, на котором такие оставались глубокие следы — больших ног и маленьких, когда двое братьев шагали рядом, взявшись за руки. И стоит ли хоть кому-нибудь на свете говорить о своей клятве при свете звёзд?

— «Почему, почему»! — рассердился вдруг Миргасим.— Сама не видишь? Вот, хотим Чулпана подарить.

— Ты придумаешь! Ну на что он Мустафе? Куда он его денет? В вещевой мешок? Или на руках в поезде держать будет? Такого пса большущего! И кормить его надо. А чем? Пайком солдатским?

— Зато на фронте он будет связистом или санитаром и ещё мины станет искать.

— Это Чулпан-то?

— Радио слушай, если не веришь! Служебная собака...

— Не болтай! На служебную собаку учиться надо. А Чулпан чему обучен?

Чулпан стоял понурый, словно виноватый, хвост, как у волка, поджат, голова опущена. На Асию Миргасим не смотрел, боялся взглянуть. Здорово она, должно быть, обиделась, если ни слова не говорит. Он погладил Чулпана:

— Ладно, оставайся пока. Мы тебя обучим. Служебная собака не чужой, свой хлеб ест. Ей паёк полагается. Везде. Даже на фронте.

Глава сорок вторая

НОСОВЫЕ ПЛАТКИ

Как побывал брат Мустафа в деревне, небо наше будто посветлело, день прибывает, ночь убывает. Но погода ой-ой-ой! Утрами такие холода! Снег твёрдый, хоть топором коли, топнешь ногой — на всю улицу звенит, сядешь на санки — под полозьями как скрипка скрипит.

Пока Миргасим в школу бежит, ресницы будто белым мохом обрастают, брови — седой кустарник.

— Эй, щёку снегом потри, побелела-а-а! — кричат ему вдогонку.

Хорошо ещё, что нос такой короткий — ничего не страшно: пятачок и две дырочки. Но если бы видели вы, какой у Темирши нос! На семерых, говорят, рос, да Темирша навстречу попался, ему весь этот нос и достался. Как придёт Темирша в класс, начинает нос понемногу оттаивать... Один раз даже на тетрадь капнуло.

Фатыма-апа рассердилась:

— Двойку ставлю — грязная тетрадь.

— Я её р-рук-кавом и л-лад-донью вытер...

— А носовой платок где?

Выдумала апа эти платки носовые! Раньше хорошо было: отвернулся, зажал пальцем ноздрю, дохнул в другую, и дело сделано. Теперь подавай платок, иначе выгонит из класса.

— И п-платком тет-традь ч-чистил.

— А нос платком почистить ты не можешь? Трудно?

Думаете, прежде у нас в деревне носовых платков не было? Были, конечно. А для чего? Для танцев. Когда девушка пляшет и носовым платком по воздуху ведёт, здорово красиво это получается, особенно если платок шёлковый, золотыми узорами расшитый. Будто цветок тюльпан у неё в руке. Годились платки ещё и парням, не на каждый день,

конечно, а к случаю. Ну, уезжает, например, парень учиться или на лесозаготовку в далёкие края, тут девушка и дарит ему свой платочек на память, чтобы не забывал: учёба учёбой, работа работой, а невеста твоя ждёт тебя здесь, дома. Взглянет парень на платок дарёный и вспомнит свою милую.

Но чтобы школьники с платком в школу ходили?! Нет, такого не бывало и не будет. Кто всё это выдумал? Асия, вот кто. Идёт по улице в своей шапочке, в калфаке, и носовой платочек у носа держит. Это правильно — береги нос в большой мороз, но разве носовым платком спасёшься? Возьми закутайся шалью, при чём тут носовой платок? Стыдно, говорит, в класс без носового платка приходить.

«У нас в Москве все так».

Но Миргасима не проведёшь, не поверил он словам Асии. Людей в Москве — как муравьёв в муравейнике, на всех носовые платки напасёшь, что ли? Сколько полотенец, скатертей, занавесок придётся на платки носовые изрезать! Этак все люди станут ходить раздетые, если каждого носовым платком оделять. Ну ладно бы, давать платки по деревням, а то сказала — в Москве!

Но учительница! Каждое слово этой москвички за правду принимает, повторяет даже:

«В класс приходить без носового платка нельзя. Советские школьники должны быть культурными, культурный человек пользуется носовым платком, а не рукавом и не ладонью. Кто будет без носового платка обходиться, того санитарная комиссия может отправить домой».

Ходить в школу с платком Миргасим наотрез отказался:

— Невеста я, что ли?

— Ты санитарная комиссия.

— Ну и что же?

— А то, что теперь вместо тебя Разия будет в комиссии.

— Разия?! Ничего ведь она не соображает, что прикажут, то и делает.

Не зря обижался на неё Миргасим, сколько раз она мальчиков домой посылала: «Принеси платок».

Первое время мальчики обижались, спорили с Разиёй, даже хотели было эту санитарную комиссию поколотить. Но

Миргасим быстро смекнул, какие выгоды можно извлечь из её строгости:

«Кто урока не выучил или кому хочется отдохнуть немного, приходите без платка, а пошлют за ним — ищите дома до конца занятий».

И пришлось учительнице побеседовать с санитарной комиссией, чтобы забывчивых ребят домой всех сразу не посылала.

Вот и заговорила Разия по-другому:

— Пожалуйста, завтра платок принеси, а то запишем в дневник.

А дневника-то кто боится? Мужчины на войне, а мамы и тёти за день так устанут, вечером через силу домашнюю работу справляют, до дневника ли им?

Однако носовых платков в классе немало и с каждым днём всё прибавляется. Откуда только берутся? А про Фаима забыли? Полна сумка у него — гони сухарь или картошину, и пожалуйста — получай на время. Несут ему хлеб, несут картошку, потому что, оказывается, носовой платок школьнику ещё нужнее, чем невесте. Особенно если привык списывать с чужой тетради. Ты пишешь, а сосед носовым платком тебя прикрывает.

Фатыме-апа это невдомёк, молодая она ещё. Увидит носовой платок и улыбнётся. Должно быть, думает:

«Наша взяла! Вот и у нас в классе дети культурные, как в Москве!»

Но, может, потому она добрее стала, что вести с войны приходят не такие страшные, как осенью? Врагов от Москвы наши воины отогнали. Ленинград выстоял, фашистам не сдался. А партизаны белорусские? Дают они жару врагам!

Молодец учительница! Как придёт в класс, всегда сначала про войну расскажет, газету вслух почитает, и уж потом берётся за письмо, за арифметику. Тут носовые платки тоже в дело идут, особенно у девочек — не получается задача, вот и плачут культурно, в платочек.

Но к концу уроков и девочки смотрят бодрей, и, хотите верьте, хотите нет, само солнышко тоже светит веселее, греет горячей. И мелькают за окном по снегу солнечные блики,

будто белые носовые платки,— то спрячутся, то вновь поманят. И длинные, и короткие носы этой игре света радуются: февраль кончается, зима с весной встречается.

Но встреча эта не очень-то добрая, война у зимы с весной идёт. То холодный ветер дует, то тёплый, а когда два ветра дерутся, поднимается метель, начинается буран.

Глядите, столбы дыма будто пополам сломились — это ветер сломал их. Воробьи, словно тёмные комочки нечёсаной шерсти, туда-сюда мечутся, за место под застрехами дерутся.

Поднялась с сугроба ворона, махая крыльями, словно чёрными флагами, полетела низко-низко по деревне:

«Кар-карр, печи гасите, водой заливайте, не то будет пожар-жарр... Кар-карр!»

Чья изба стоит впереди? Миргасимова. Вот и достаётся этой избе больше всех снега, больше всех ветра — она собой всю деревню прикрыла.

Далеко-далеко в ярко-синем небе, словно белые овцы, столпились тучи... Тонкой простынёй поднимается снег с земли. Эти снежные простыни то мнутся, то вздуваются, превращаются в снежные подушки и сугробами приваливаются к плетням и заборам.

Фаим вынул из своей сумки носовой платок, взял его за один угол и поднял руку, чтобы посмотреть, в какую сторону ветер дует. А ветер как рванёт этот платок! И закружил, и завертел, и неведомо куда понёс.

То-то смеху было! И слаще всех кто смеялся? Фаим! Ведь у него смеющиеся зубы, а старик Саран никогда вволю посмеяться Фаиму не даёт: «Грех, грех».

«Да, но если ветер выхватил платок, это уже не грех — это аллах так захотел»,— скажет Фаим своему дяде.

А ветер дует всё сильнее, свирепей! Кажется, будто Фаимов носовой платок вырос, разорвался и клочьями разлетелся по всему небу, хлопьями завалил землю.

— Буран, буран идёт!

— Шакире, Асия, скорее домой! — приказал Зианша-абый.

Шакире сразу послушалась, но Асия заупрямилась:

— В Москве никто не бежит, когда снег идёт.

И внезапно сникла, смолкла. Она вдруг увидела Чистые пруды зимой в Москве и себя на льду, как скользит, раскинув руки, а снежинки одна другой крупнее ложатся на ладони, на плечи. Рядом, чуть впереди, скользит папа, нарочно замедляя шаг. Он тоже весь осыпан снегом, только коньки блестят.

«Ах вы, снеговики мои!» — говорит мама и, обгоняя их, бежит в раздевалку. Ей идти на работу в детскую поликлинику, что напротив Чистых прудов, рядом с белым каменным домом, где по стенам — крылатые каменные звери и зубастые птицы. А заведующую поликлиникой зовут Мина Яковлевна...

— Никто не боится снега в Москве! — топнула ногой Асия.— Никто!

— Такой снегопад, как у нас, даже в Москве не бывает,— пошутил Зианша и добавил уже всерьёз: — Хорошо, когда снегу много. Снега не будет — хлеба не будет. Пропадут озимые, плохо взойдут яровые.

«Может быть, надо спросить, что такое «озимые», что значит слово «яровые»? Все деревенские знают... А я не хочу и не буду, не буду спрашивать!»

Смахнула слезу носовым платком и побежала.

Ветер хлестал, сбивал с ног.

Зианша собрал малышей в цепочку, сам шагает впереди, Фарагат позади.

— Цепляйся за Фарагата, Асия!

И Асия — что поделаешь? — прицепилась. Так цепочкой и побежали по улице, оставляя постепенно по одному человеку. Каждого у его дома.

Ветер хлещет, снег слепит глаза, даже собак не видно, не слышно. И всё же чей-то басистый лай вдруг прорывается сквозь вой пурги. Это голос Чулпана! Выскочил он из своей конуры и кинулся искать Асию.

Нашёл и радуется:

«Гав, гав! Держись, Асия, за ошейник — и не заблудишься».

На служебную собаку Чулпан так и не выучился, слишком много у него учителей. Но другом стал настоящим:

«Гав, гав! Шагай смелей, никогда я тебя, Асия, не покину».

Глава сорок третья

БУРАН

Когда Миргасим прибежал домой, мамы уже не было, ушла на ферму. В буран нельзя скот колхозный без своего глаза оставить. Зуфер пошёл вместе с матерью: можно ли в такой ветер женщине одной по степи идти? Нет, Зуфер маме одной идти не позволит.

Сестрёнке Шакире бабушка велела спешить к Насыровым. Тётя Карима на работе в правлении. Погасят ли дома ребята огонь в печи? Зианша такой рассеянный.

— Иди, иди скорее,— беспокоилась бабушка, укутывая внучку тёплой шалью.

Миргасим тоже схватился за шапку.

— Ты куда?

— Ставни прикрою.

— Это я сама сделаю, мой внук. Если стекло разобьёшь, где теперь другое достанем?

Убежала Шакире, хлопнула дверь за бабушкой. Вот одно окно потемнело, другое, щёлкают задвижки наружных ставен. В комнату будто ночь пришла. Ни щёлочки, ни просвета.

Вернулась бабушка, затеплила фитилёк.

— А на дворе как? Тоже потемнело? Я погляжу.

— Не смей!

— Гусей в дом загоню.

— И близко не подходи к ним, всю птицу распугаешь. Как будем в буран собирать?

— Овцу приведу.

— Ещё что выдумал! Овца тебя хуже волка боится.

Надела бабушка шапку поглубже, завязала платок потуже — и опять во двор, за гусями, за овцой, за курами.

Тревожно блея, мелко стуча копытами, взбежала на крыльцо овца; гогоча, вошли в избу гуси.

«Надо бы за водой сходить, пока не поздно»,— решил Миргасим и, чтобы опростать вёдра, принялся ковшом переливать воду в котёл.

Увлёкся делом, не заметил, что бабушка в избу вошла:

— Вот спасибо, милый внук!

— Я за водой схожу.

— Сколько раз повторять? Сиди дома, слышишь! — Взяла вёдра, сама пошла.

В трепетном свете фитилька то блеснёт глаз овцы, то вынырнет из темноты красная гусиная лапа. Стучит клювом курица, выбравшись поближе к пятну света на полу, вздыхает овца в тёмном углу. Изба полна таинственным шелестом, топотом, шорохом. По потолку движутся длинные тени.

Бывали и прежде, до войны, бураны по вёснам. Заберётся Миргасим на лежанку, спрячет голову под подушку, чтобы не слышать, как хлопает ставнями ветер, и уснёт, прикрытый отцовским тулупом...

Но тулуп отца мама ещё осенью послала на фронт в подарок бойцам.

«Для чего она это сделала? Зачем? Вот и нечем укрыться...»

Уу-х, и-их! — ударяет ветер в стены.

Хоть бы скорее бабушка пришла! Найдёт ли она в такой буран дорогу от колодца к избе? Вдруг в сугроб провалится? Ведь сама же рассказывала, как дедушка один раз по степи ехал и деревни не нашёл — завертел, закрутил его буран. Ну и решил дедушка: пускай хоть лошадь домой прибежит, если суждено. Распряг, пустил, а сам поставил оглобли, сани опрокинул и залез под них. Замело, занесло эти сани, и потом только по оглоблям люди дедушку отыскали. Он пролежал под санями двое суток и был ещё живой, но пропал с той поры звонкий дедушкин голос...

Вдруг Миргасим вскочил: бабушка-то не заблудится, колодец рядом, а вот как там у себя в избе Фатыма-апа? Брату Мустафе что обещал? А сам и думать о названой сестре своей позабыл. Он тут же оделся, схватил свои грабельки, привязал к ним полотенце с красными концами и вышел из дома.

«Если под снегом окажусь, меня по грабелькам, по полотенцу найдут, откопают, как дедушку».

Снег падал сплошной пеленой, закрывая небо и землю.

Куда идти? Не поймёшь теперь, где правая сторона, где левая.

«А что, если залезть на крышу, осмотреться? Сверху виднее...»

Грабли с красным полотенцем он воткнул в сугроб, сам по стремянке взобрался наверх. А снизу всё сильнее дуло да свистело.

И-и-и! — по-комариному запел ветер и сорвал по-разбойничьи Миргасимову шапку. Шапку с красной звёздочкой! У-у-у! — стонало, плакало кругом.

Миргасим обхватил руками трубу, чтобы ветер не унёс и его самого.

Бух-ух! — и лестницы как не бывало. Ветер свалил её, снег засыпал. А грабельки стоят, и концы полотенца сверкают на ветру, как два праздничных флажка.

Тяжело дыша, бабушка втащила воду в дом. Теперь не страшно: вода есть, пусть бушует непогода — она с внуком своим не пропадёт.

— Миргасим, возьми веник, стряхни снег с моих сапог, я устала.

Никто ей не ответил.

— Миргасим!

А внука и не слышно.

Бабушка заглянула в комнату. При свете фитилька она увидела гвоздь, на котором обычно висели тулупчик и шапка Миргасима. Одежды не было.

«Неужели убежал мальчишка?»

Бабушка снова вышла на крыльцо. За хлопьями снега ни хлева, ни плетня не различишь. Задыхаясь от ветра, который бросал в лицо комья снега, бабушка, охая, спустилась во двор.

— Миргасим, Миргасим!

Сугробы намело под самую крышу. Порыв ветра сбил бабушку с ног. И, только упав навзничь, увидала она своего внука на крыше.

— Уф, алла, даже сердце закололо!

Опираясь на грабельки с полотенцем, бабушка поднялась и сквозь сыплющийся снег закричала:

— Прыгай вниз!

Он сидел скорчившись, прижавшись к трубе, весь засыпанный снегом, без шапки, без рукавиц.

— Прыгай!

— Бою-у-усь!..

— Тейли, шайтан![1] — Первый раз в жизни так бранила бабушка своего внука.— Прыгай или граблями в тебя запущу, глаза твои выколю!

— Не могу-у-у-у-у...

А ветер громыхал так, словно в небе рвалось железо.

— Прыгай, душман![2]

Бабушка погрозила граблями, а ветер словно только и ждал этого, подхватил полотенце, уволок его, закружил, подбросил вверх. Полотенце хлопнуло Миргасима по лицу и пропало.

Миргасим испугался, разжал руки и скатился к ногам бабушки.

— Знал бы, что так мягко падать, давно прыгнул бы,— чуть шевеля посиневшими губами, сказал он.

Обнявшись, поддерживая друг друга, они взобрались на крыльцо и, налегая изо всех сил, еле-еле отворили дверь. Едва успели войти в сени, как дверь трахнула, будто выстрелила, и сама захлопнулась. Бабушка спустила крюк, задвинула засов и принялась тереть лицо и руки Миргасима, приговаривая:

— Разбойник, ох разбойник!

— Ничего ты, бабушка, не знаешь. Одному человеку звёздами я поклялся.

— А шапка где?

— Чтоб буран перевернул наш дом кверху дном, если шапку не найду! Чтоб я...

— Замолчи, замолчи! Бог с ней, с шапкой, главное, что голова цела.

— А звёздочка?

— Да, конечно, это обидно, очень обидно: звёздочку, что тебе брат подарил, ты не уберёг. Эх, ты! Говорила тебе — сиди дома, и звёздочка была бы цела.

— Скажи, бабушка, что с учительницей теперь будет? Она одна.

---

[1] Шайта́н — сумасшедший.
[2] Душма́н — разбойник.



— Одной-то лучше, чем с таким, как ты, помощником. Счастье моё, что грабли под рукой оказались, не то внук мой на крыше в ледышку превратился бы.

— Это грабельки мои выручили нас, бабушка, потому что они папины, волшебные. Я сам их в сугроб поставил и полотенце к ним привязал.

— Мама придёт, всё расскажу. И шапки нет, и полотенце улетело... Иди сейчас же ложись! Ложись на мою постель, подушки мягкие, одеяло тёплое. Спи.

«Лечь-то я лягу, но спать не буду. Поутихнет ветер, всё равно, даже без шапки к Фатыме-апа побегу. Главное, не надо спать, не то проспишь всё на свете».

Но ресницы слиплись, голова упала на подушку. Уж очень устал он и замёрз там, на крыше.

Много ли, мало спал, кто знает? Но только проснулся и видит: по-прежнему горит фитилёк в избе. По-прежнему сидит бабушка на сэке, прядёт шерсть. По-прежнему завывает ветер в трубе и стучит по крыше, будто выстрелы гремят.

Но вот среди этого лязга и свиста Миргасиму послышался звук совсем новый, нежный, как звон свирели.

— Бабушка, что это?

— Буран был весенний, и гость в избе у нас тоже весенний. Пока ты спал, ягнёночек родился. Это он кричит. Хочешь посмотреть?

Осторожно, прикрывая рукой, как щитом, колеблющееся пламя, бабушка понесла фитилёк за печку, чтобы показать Миргасиму нового жильца в этой избе, новое существо на нашей земле.

Он стоял на длинных белых, чуть согнутых, ещё дрожащих ножках с розовыми копытцами. Бабушка опустила фитилёк, и Миргасим увидел мордочку с ясными, почти совсем прозрачными глазами и белыми ресницами. Ягнёнок открыл нежно-розовый рот: «Ээ-э-э!»

Тяжело дыша, обернулась на этот зов чёрная овца. Шерсть слиплась у неё на лбу и боках, бока то вздымались, то опускались. Передним копытом овца всё била и била по полу.

— Видишь, если бы в поле ягнёнка принесла, она копытом травы бы себе под снегом поискала, а вот за печкой дело случилось, а копытом всё равно бьёт. Привычка такая!

Ягнёнок расставил передние ножки и потянулся мордой под брюхо матери.

— Закрой глаза, Миргасим. Теперь нельзя смотреть, сглазишь. Он сосёт в первый раз.— И бабушка увела внука на другую половину избы.

— О чём ты всё вздыхаешь, бабушка?

— Каково на фронте в такую метель!

— Бабушка, ночь сейчас или день?

— Не знаю, мой внук. Зола в печи остыла...

— Нас совсем занесло, бабушка! Можно, я выйду посмотреть?

— Дверь не открывается.

— Ну, тогда можно, я за печку пойду? Ягнёнок уже насосался, должно быть.

Миргасим взял на руки маленького, словно игрушечного, барашка.

— Бабушка, он греет теплее, чем овчина.

— Ещё бы, живое согревается живым.

Ветра уже не слышно, но вокруг избы что-то шоркает, слышится какой-то странный скрип, стук под самыми окнами. Миргасим опустил ягнёнка на пол.

— Бабушка! Слышишь? Да слушай же! Что это шумит?

Но у бабушки в ушах всегда шум.

— Это ветер, ветер,— бормочет она.

— Нет, на ветер не похоже. Это голоса людей за стеной, стук лопат под окнами.

Бабушка отогнула край платка, наставила ладонь к уху, прислушалась:

— Откапывают нас люди, Миргасим, откапывают...

Распахнулись наружные ставни, свет хлынул, залил комнату. О, как там, за окном, сверкает небо, сияет снег!

У бабушки глаза заслезились, Миргасим тоже сощурился, чихнул.

— Отворитесь,— стучатся люди в дверь,— отопритесь!

Миргасим кинулся в сени, сбросил крюк — народу перед крыльцом полно собралось: кто с лопатой, кто с ломом, кто с совком.

Впереди всех Фатыма-апа, в руках у неё Миргасимова шапка с красной звёздочкой.

— Жив, жив Миргасим! — закричала учительница тонким, пронзительным голосом и задрожала как в лихорадке.

Ещё бы не дрожать. Знаете, что передумала, что пережила она!

Глава сорок четвёртая

КРАСНАЯ ЗВЁЗДОЧКА

Буран выл вовсю, когда вдруг что-то шоркнулось в окно к Фатыме-апа. Постучало и пропало. Часа через два снова плюхнулось в стекло, и опять ничего нет, потом объявилось — трётся, стучится.

«Несчастная кошка,— подумала Фатыма-апа,— она уже и не мяучит».

Приоткрыла дверь и тут же в комнату внесло шапку. Увидела учительница знаменитую Миргасимову звёздочку — на всю деревню одну,— выскочила из дома, побежала, закричала:

— Спасите, помогите! Миргасим пропал!

А ветер крутит, сбивает с ног, волочит. Ничего она не видит, даже голоса своего не слышит, как в дурном сне...

Но Миргасим человек счастливый. Это на его счастье угомонился ветер, улёгся снежный буран и услышали люди голос учительницы. Высыпал народ на улицу. Шапка переходила из рук в руки.

— К ним домой надо пробиться,— решили старики.— Если мальчишки нет, на ферму наведаемся. Там не окажется, дадим знать милиции, сообщим в военкомат. Всю округу поднимем...

Хотя Фатыма-апа еле-еле на ногах стояла, однако тоже взялась за лопату.

— Не оплакивай мальчика прежде времени, учительница,— сказали старики,— дед его однажды двое суток под снегом пробыл, а жив остался.

— Без шапки?

— Миргасим не глупый, тулуп на голову натянет.

— Нечего, нечего языком болтать, отбрасывайте снег, да поживее.

— Ох, успеем ли?..

— Делай, что должно, а чему быть, то и будет.

И вдруг дверь отворилась, и все увидели Миргасима.

— Живой, здоровый!

— Где ты шапку потерял?

— Для чего по ветру добро своё пускаешь?

Люди смеялись, а некоторые даже всплакнули.

— Ох уж эта звёздочка красная, всю деревню она всполошила!

Когда и бабушка навстречу людям вышла, нашёлся весёлый человек, преподнёс ей изодранное ветром полотенце с красными концами:

— Узнаёте?

На одном конце полотенца были чёрной тушью нарисованы буквы «МИР», а на другом — «ГАСИМ».

— Когда это ты успеваешь всюду имя своё поставить, мой внук? Даже на дне колодца расписался бы, если б воды холодной не боялся.

— Миргасиму грамота на пользу пошла.

— Неграмотному худо, но и шибко грамотным быть, оказывается, не каждому хорошо.

— Мы трубу прочистили,— закричали люди на крыше,— можете печку затопить!

— Заходите, друзья, самовар поставлю, всех чаем напою.

— Дом Фарагата тоже на подветренной стороне,— говорит Миргасим,— пойду помогу. Фарагат один мужчина в доме, трудно одному.

— Держите внука за хвост, бабушка, больно он у вас шустрый.

— Весь в дедушку,— смеётся бабушка и даёт Миргасиму увесистый шлепок.— Сиди дома, слышишь?!

Откуда сила в её тонкой, сухой руке взялась!

— Не тужи, Миргасим, мы твоего Фарагата в беде не оставим. Избе той и правда сильно досталось, сугробы выше окон.

— Сперва чаем согрейтесь,— снова просит бабушка.

— Рахмат, спасибо, некогда нам чай пить, надо на ферму. Посмотрим, что там буран натворил.

— Прощай, грамотей, живи счастливо, живи весело, живи тысячу лет, только шапку в буран потуже к башке привинчивай.

Посмеявшись вдоволь, соседи, и близкие и дальние, уходят.

Лишь Фатыма-апа осталась, стоит, протянув руки к огню.

Труба отсырела, дым идёт в комнату, поднимается к потолку и выходит в приоткрытую дверь. Капли оттаявшего снега шипят, падая на горящую солому. И всё же какое это великое счастье — огонь! Миргасим, как всегда, смотрит на огненных человечков. Как он соскучился по ним! Сколько их сегодня пляшет по соломе? Не сосчитать! Все они куда-то бегут, торопятся. Колпачки жёлтые, фиолетовые, ярко-красные. Так и смотрел бы на них всю жизнь.

Фатыма-апа тоже, должно быть, дружит с этими жаркими человечками, не отходит она от печки. Руки учительницы дрожат, и мелко-мелко вздрагивают её крылатые ресницы.

«Плачет она, что ли? А может быть, всё ещё никак не согреется?»

Миргасим подхватил ягнёнка, поднял повыше:

— Апа, возьмите барашка, обнимите его, сразу согреетесь! Не верите? Бабушку спросите: живое согревается живым.

Взглянула на Миргасима апа, и что она сделала? Обняла барашка? Взяла на руки? Ошибаетесь! Не ягнёнка, но Миргасима она руками обхватила и вдруг ПО-ЦЕ-ЛО-ВА-ЛА!

Ох уж эти женщины! То плачут, то целуются.

Глава сорок пятая

АХМЕТ, ОТЕЦ ФАИМА

После бурана всё переменилось. Кустарник по берегам речки покраснел, ветки глянцевые, будто лаком покрытые, и на них крупными лилово-розовыми бусинами нанизались первые почки. Кусты ещё по-зимнему прозрачны, но, если издали посмотришь, видно, как поднимается от кустов едва различимая, едва видимая пелена, будто чьё-то лёгкое ды-

хание. И небо над кустами, над речкой чуть затуманено этими весенними вздохами, но выше оно чистое, празднично яркое и немного влажное, словно только что умытое.

У школьного крыльца синим зеркальцем блестит лужа, вокруг неё ходят сизые голуби, и от их тонких красных лап остаются на снегу следы, похожие на перепутанные строки непонятных букв.

Но от Миргасимова каждого шага след такой глубокий, будто здесь не мальчик шёл, а медведь. Каждая впадина, едва вытащишь ногу, сразу заполняется водой, превращается в озерко.

Озёр этих по дороге в школу не счесть! Каждому хочется оставить свой след на рыхлом снегу. А Темирша решил посмотреть, какой глубины будет озеро, если он пойдёт не по дороге, а по обочине. Шагнул — и по колени провалился!

День сегодня какой-то удивительный, весёлый! И Фатыма-апа на крыльцо вышла, солнышку смеётся:

— Скорее, скорее раздевайтесь, разувайтесь, одежду хорошенько развесьте, чтобы высохла, и бегите на собрание. У меня сегодня хорошие новости.

В руках у неё газета, маленький листок, размером меньше «Пионерской правды», всего один только листок.

— Это боевой листок,— говорит апа,— фронтовая газета.

В газете портрет солдата с орденом на груди.

Миргасиму невдомёк, кто это. Абдулу-Гани человек этот тоже незнаком. Высокий лоб, красивые усы, длинные брови, светлые глаза. Но старшие ребята сразу солдата узнали.

— Да ведь это красавец Ахмет! — воскликнула Наиля.

Она не сказала «это Ахмет, отец Фаима».

«Спасибо ей»,— подумал Фаим.

Отца своего он стыдился, никогда о нём не упоминал. Их разлучили лет пять назад, когда Фаиму было всего два с половиной года. Однако легенды о проделках этого ловкача всё ещё передавались из уст в уста по всей округе. Да и Саранабзей не упускал случая попрекнуть племянника:

«Не слушаешься? Кончишь, как отец!» — и страшнее этого ничего не могло быть: отец сидел в тюрьме.

Историю Ахмета слыхал и Миргасим — в маленькой деревне люди всегда на виду. О каждом здесь помнят: знают, когда родился, на ком женился, чем отличился, прославил отчий дом или запятнал.

Были времена — заведовал красавец Ахмет в районном центре столовой и продовольственным магазином.

Поварам в столовой он говорил: «Когда будете варить мясо, прибавляйте побольше воды — если кому не достанется мяса, то ему достанется мясной отвар. Цена порции одинаковая, ибо суп мясной, но, когда станут требовать мяса, отвечайте: кому какое счастье! Одному досталось, у другого порция разварилась. Не нравится, вот фартук, вот поварёшка, иди становись на моё место! И вы будете всегда правы».

Продавцам в магазине советовал: «Если отвешиваете сахар, вешайте полной мерой, но предварительно немного намочите мешок. То же самое можно проделать с солью. Вашей вины в том нет, что сырые продукты становятся тяжелее, и таким образом и покупатель не в обиде, и вы при своих интересах. В крупу добавляйте песок или золу. Хорошая хозяйка хорошо моет крупу и никому от такой добавки не будет вреда. А плохую хозяйку пусть учит муж, если песок заскрипит у него на зубах. Вина тут её, он прав, а вы ни при чём. Ей будут кричать «неряха», а вам никто не скажет «воры», потому что отвешено было правильно».

Старший брат красавца Ахмета прозвище получил Саран, что значит «скупой», зато младшего, Ахмета, все называли Юмарт — «щедрый».

Особенно восхваляли доброту Юмарта друзья-приятели, те, что сами ни на какой работе долго не задерживались, а за столом посидеть любили. Хозяином Ахмет-Юмарт был хлебосольным, поскольку угощал не на свои, а на государственные денежки.

Жена его, прекрасная Зейнаб, утром ела халву, а вечером плов, сынок Фаим ходил в шёлковых рубашках, бархатных штанишках, сафьяновых сапожках...

Кончилась эта весёлая жизнь печально. Красавец Ахмет, по прозванию Юмарт, попал в исправительный трудовой лагерь, прекрасная Зейнаб с маленьким Фаимом приехала

в деревню к Сарану-абзею. Оставила мальчика и направилась туда, где отбывал наказание муж. В дороге простыла и умерла.

И вот смотрите — портрет Фаимова отца во фронтовой газете, орден на его груди.

Фатыма-апа читает вслух письмо, которое вместе с газетой прислал в школу красавец Ахмет, Ахмет-солдат, Ахмет — отец Фаима.

— «...О сыне своём много думал,— читает Фатыма-апа,— горько было думать: «Фаим — сын вора». Может, и такой человек найдётся, кто скажет: «Фаим — вор, сын вора...» И я работал в исправительном лагере как зверь.

Зверски работал, имя сыну своему зарабатывал. А как услыхал, враги ступили на нашу землю, попросился на фронт.

Милость эту мне оказали, оружие доверили. Теперь сражаюсь. Если придётся, свою вину кровью смою, своей жизни не пощажу. Хочу, чтобы люди сыну моему когда-нибудь сказали: «Фаим — сын Ахмета отважного». Выше голову, сынок. Если суждено нам, сын мой, встретиться, отец дружбы твоей, поверь, будет достоин».

А за окном щёлкали капели, но Миргасиму казалось, будто это стучит-поёт сердце Фаима.

Зашуршал рыхлый снег по крыше; должно быть, пополз к краю. Так и есть — шлёпнулся вниз!

«Хорошо, что никто не стоял там,— подумала Фатыма-апа.— Надо будет послать старшеклассников сбросить снег с крыши».

А Миргасим жалеет, что не был там, куда шлёпнулась глыба тающего снега.

«Засыпало бы меня, завалило, а весной растаял бы и вместе с талым снегом побежал бы ручейком по полю, прибежал бы к речке, влился бы в море...»

Щёлкает, сверкает за окном, звенит капель.

— Весна нынче будет ранняя,— заметил дядя Рустям. Он пришёл сегодня в школу, он поздравляет с радостной вестью Фаима.

— Похож ли сын на своего отца-героя? — говорит он.— Да, похож, особенно глаза.

— Отцу Фа-аима н-н-надо от-тветить,— произнёс Темирша.— М-мы напишем ему...

— Мы напишем,— перебил Зуфер,— «Уважаемый отец Фаима, твой сын способный, толковый мальчик, пишет лучше всех в классе, считает лучше всех в школе, только иногда...»

— Нет, нет,— перебил Миргасим,— не надо писать «иногда», больше этого не будет никогда. Правда, Фаим?

Когда человек счастлив по-настоящему, он всегда становится лучше, добрее. Наш Фаим был счастлив безмерно. Он сказал:

— Что я ребятам бесплатно списывать не позволял иногда? Клянусь аллахом, пусть теперь списывают задаром сколько хотят, всегда!

— А п-про н-носо-вые платки он н-ничего не сказал,— шёпотом молвил своему другу Фарагату длинноносый Темирша.

— Погоди, не всё сразу,— отозвался Фарагат и протянул Темирше свой платок.

— Мы получили радостную весть, товарищи,— сказал школьникам дядя Рустям.— Наш односельчанин, человек из нашей деревни, награждён орденом. Значит, хорошо он там, на фронте, свою работу делал. И нам тоже отстать нельзя. Вот и пришёл я к вам, товарищи, помощи просить. Сами знаете, самая пора золу, птичий помёт собирать. Пусть Фатыма-апа запишет, кто сколько вёдер обещает принести из дома.

— Мне и одного ведра дядя взять не позволит,— сказал Фаим.

«А ты нашу золу, со мной вместе, таскай»,— хотел было предложить Миргасим, но дядя Рустям опередил его:

— Дядя не даст, говоришь? Ну, в таком случае назначаю тебя бригадиром. Ты будешь за весь свой первый класс в ответе. Согласен?

Фаим от радости даже немного растерялся. Первый раз в жизни не знал, что сказать.

И другие ребята тоже молчали, только переглядывались. Даже Фатыма-апа улыбнулась молча.

А Миргасим вдруг как закричит:

— Спасибо, дядя Рустям!

И весь класс подхватил:

— СПА-СИ-И-И-БО!

Председатель пожал руку учительнице:

— Вы хорошо воспитываете учеников, апа.

Миргасим чуть было не крикнул:

«Это не у Фатымы-апа, это у Асии научился я спасибо говорить».

Но председатель уже прощался.

— Надеюсь на вас, товарищи,— сказал он и ушёл.

Не побежишь ведь за ним следом про Асию говорить, про её «спасибо» и «пожалуйста».

«Ладно! Пускай председатель думает, что учительница такая воспитанная. Человек она всё-таки нашей семье не чужой. Брату Мустафе я обещал не обижать её...»

Глава сорок шестая

ФАИМ ШЛЁТ ПОСЫЛКУ

Когда собирали по деревне подарки для солдат, дом Сарана-абзея обходили подальше. Но тут ведь случай такой необыкновенный — отец Фаима нашёлся!

— Пойдёмте к нам,— позвал своих товарищей Фаим,— я тоже хочу послать подарок.

Старик Саран внимательно выслушал ребят и молвил:

— Желание Фаима законное, можно просьбу его уважить. Если мы теперь, как семья военного человека, будем получать всё, что нам положено, то этому нашему военному человеку следует послать всё, что ему положено.

Он пошёл в чулан и вынес оттуда старый, весь в заплатах армяк и стоптанные валенки.

— Я сам своей рукой чинил эту одежду и обувь. Латать одежду — значит совмещать хозяйственность со скромностью, а выбрасывать ношеные вещи — это расточительство и чванство. Армяк этот был достаточно хорош для нашего родителя, следовательно, хорош он будет и для отца Фаима. А валенки

эти были сваляны не для продажи — для себя, и служили они много лет. От длительной носки они стали мягче новых, и поскольку я подшил их кожей и войлоком, то сделались ещё теплее, чем были до починки.

Ребята молчали. Фаим, худенький, маленький, стыдился смотреть на товарищей.

— Война не сабантуй,— продолжал рассуждать Саранабзей.— Не к месту надетый новый наряд вызывает смех, а удобная старая одежда может вызвать зависть и уважение.

— Потопали отсюда,— решил Абдул-Гани.

Фаим шагал со своими товарищами, и казалось ему, что даже вороны на крышах, собравшись толпой, смеются над ним.

Но вороны собрались лишь для того, чтобы прокричать свою первую весеннюю песню. Каркали, будто в колокола звонили, клювами стучали.

Фаим шёл опустив голову. Снег под ногами был тусклый, серый, весь в мелких дырках...

— Не тужи,— сказал Миргасим,— подарок твоему отцу мы пошлём.

— Ничего у меня нет, и взять неоткуда...

— А про сундук моей бабушки ты позабыл? Вспомни, чтó я сказал тебе в день моего рождения!

— Стыдно идти к ней, она уж и так всякий раз из сундука своего что-нибудь выкладывает.

— Да, но ведь она, когда дарит, приговаривает: «Пусть это пойдёт во искупление беды, нависшей над моими детьми и внуками». А сыновей, внуков у неё полно, вот и надо отдавать побольше.

— Н-нашей Сакине д-дедушки т-твоего шапку подарила,— сказал Темирша,— и ещё жилетку от-т-дала... Ч-чтобы в лес-су ей теплее было...

— Ну, это всё не на фронт.

Миргасим не ошибся, что Фаима к бабушке привёл.

— Пусть все наши воины так счастливо воюют, как твой отец,— сказала бабушка,— пусть будут они так же смелы и удачливы. Ради этого ничего не жаль.

Открыла бабушка свой зелёный сундук, Миргасим заглянул туда и засмеялся — знакомый узел увидал! Значит,

пришли с ёлки льняные пелёнки для его деток. Хотелось бы заодно уж и на корабли поглядеть, ребятам эти картинки бабушкины показать. Но бабушка посмотрела сердито:

— Отойди, не мешай!

Долго перебирала она сложенное в сундуке добро. Вытащила из-под спуда дедушкину ситцевую рубаху, розовую в зелёных крапинках, чёрную суконную жилетку, шерстяные носки, телогрейку, тёплые брюки.

— А сапог нет. Надо было у старика Сарана взять, когда давал. Не часто это с ним случается — подарок сделать. Нечего было на заплаты обижаться. Теперь он уже не даст, ни за что не даст. Была у него такая минута добрая, а вы прозевали. Вещи у него хоть и старые, а добротные,— поучала ребятишек бабушка.

— Я домой сбегаю,— сказал Фарагат,— маму попрошу, скажу: «Миргасимова бабушка посылку собирает». Она вам, бабушка, не откажет! — И побежал.

А бабушка нашла две наволочки небольшие и принялась складывать туда вещи для Ахмета, для Фаимова отца.

Собирает посылку и шепчет, шепчет:

— Это за здоровье Гарифа, это за Мустафу, за Сигбата...

Всех детей своих и внуков, кто на фронте, пересчитала. Не забыла и прочих воинов благословить, молодых и старых, всех, кто сражается за нас.

— Пусть стрела, в них пущенная, мимо пролетит, пуля пусть их не коснётся...

— «Стрела», «пуля»! — засмеялся Миргасим.— А мины, гранаты, бомбы?

— Типун тебе на язык! — рассердилась бабушка.

— И двенадцать под язык,— сказал на ухо приятелю Фаим.

— Что ты там бормочешь? — обернулась бабушка, дала Фаиму в обе руки по наволочке с подарками.

Неповоротливый Фарагат на этот раз скоро обернулся, сапоги принёс.

Бабушка взяла, осмотрела:

— Спасибо скажи маме. Скажи, Фаим спасибо говорит.

И все ребята выскочили из бабушкиного дома радостные,

счастливые. И принялись все вместе тормошить Миргасима. Хорошая у него бабушка! Получай за это снежок, и ещё один, и ещё!

Ну и засиял Миргасим, весь облепленный снегом,— настоящий Дед Мороз, не такой, каким был Зуфер на ёлке, а всамделишный. Хоть и без бороды, зато нос какой красный!

Сугробы, подтаявшие за день, теперь покрылись сверкающей корочкой льда. В лучах заходящего солнца казалось, что лёд сам по себе брызжет светом.

Бабушка тоже собралась в школу. Для этого случая надела она широкое красное платье, новую шубу, а поверх шубы — обшитую галуном бархатную безрукавку. Обулась в белые чёсанки с новыми галошами, голову повязала белой шалью. Она и вообще-то всегда любила принарядиться, наша бабушка, а тут ведь дело какое большое предстояло совершить — посылку упаковать и письмо составить Ахмету-красавцу, Ахмету-Юмарту, Ахмету-воину.

«Фаим растёт как трава,— пишет под её диктовку Фатыма-апа,— ты — отец, должен о воспитании единственного сына позаботиться. Саран-абзей хорошему не научит...» — диктует бабушка.

Фатыма-апа склонилась над столом. Усердно, как ученица, строку за строкой выводит. А бабушка важно так слова произносит, каждое слово давным-давно продумано. Фаим тоже пишет, сочиняет первое в своей жизни письмо. Почерк у него хороший, но сейчас он пишет особенно красиво.

— Только смотри, строку справа налево не веди! «Миаф» вместо «Фаим» не напиши! — смеётся Асия.

Ребят, будто магнитом, к столу притянуло: интересно поглядеть, как будут зашивать посылку. Но почему среди этих любопытных не видно Миргасима?

Но мог ли он оставаться в школе, если бабушкин сундук стоит сейчас с откинутой крышкой. Бабушка уж если начала письмо диктовать, до ночи не кончит.

«Кланяются тебе Абдракип-бабай, тётя Карима, и Рустям, он теперь нашего колхоза председатель, и жена его Фахри...»

Ну, и так далее, пока всех не назовёт.

«Вот когда картинками я полюбуюсь!» — решил Миргасим, и ноги будто сами собой вынесли его из школы, понесли по улице и домой привели.

Глава сорок седьмая

КОРАБЛИ УХОДЯТ НЕВЕДОМО КУДА

Сколько бабушку просил:

«Ну погляжу ещё немножко!»

«Некогда, некогда, сейчас не время»,— всякий раз так она отвечает и снова прячет в сундук ладьи, корабли, броненосец «Потёмкин» и крейсер «Аврору».

«Если не научусь корабли узнавать, какой из меня моряк».

Миргасиму что вздумалось — сделает. Кто осмелился бы, не спросясь, полезть в заветный бабушкин сундук? А Миргасим обе руки в сундук запустил. Вынул картинки все до единой, и корабли и лодки — всё у него в руках.

«Что случится, если я лишний раз посмотрю на них? Отнесу Насыровым, покажу Наиле, она мне такие же нарисует, а может, и получше».

Но только собрался на улицу выскочить, как дверь будто сама собой отворилась.

Миргасим едва успел юркнуть за бабушкин сундук. Картинки посыпались из рук, разлетелись по всей комнате.

Пришла, оказывается, мама. И тётя Карима с нею.

«Ох и влетит мне!..» — затосковал Миргасим.

Но женщины на картинки и не посмотрели. Сели на сэке, заговорили о чём-то тихо, печально. Миргасим прислушался.

— Не убивайся так, Бике,— произнесла тётя Карима,— возможно, хотел бы твой Гариф дать о себе весть, да нельзя. Сама ведь понимаешь...

Мать только вздохнула, а Карима-апа говорит, говорит:

— Может быть, он сейчас у партизан или попал в окружение. Да мало ли что случается на фронте. Зачем человека оплакивать, если извещение не пришло?

— Ах, если бы это было так...— заплакала мать.—

Одной тебе, Карима, подружка моя, сестра, скажу: извещение ещё осенью получила.

Не сразу, не вдруг дошли до Миргасима слова мамы — «извещение ещё осенью получила».

«Значит, папа, как дядя Насыр, тоже погиб смертью храбрых? А как же лента красная из Батыровой гривы? Вот она, милая моя ленточка, сберёг я тебя... Потому что коня Батыра отец любил. Сберёг я тебе, папа, красную ленту...»

Он сидит за сундуком, прислушивается. О чём Карима-апа маме говорит? Слушает, только никак понять не может...

— Если мы станем думать только об умерших, это опечалило бы их, когда могли бы они видеть нас,— повторяет Карима-апа слова председателя Рустяма, какими он её утешал, когда пришла весть о гибели кузнеца Насыра.— Приходится, подружка, жить для живых.

«Умерший? Кто? Папа? Разве после войны он не придёт домой?» — не хочет поверить этому Миргасим.

И вдруг с ужасом он вспоминает: отдала мама ещё осенью тулуп папин в подарок на фронт бойцам.

«А папа в чём зимой будет ходить?»

Кулаки его сжимаются, так бы и выскочил из-за сундука, крикнул бы:

«Для чего, зачем тулуп папин отдали?»

Застучать бы ногами, забарабанить бы по сундуку кулаками:

«Тулуп папин зачем отда-а-али?!»

Разбросать бы, растоптать бы все эти корабли, выбросить картинки. Кому нужны они теперь? Завопить, заорать бы так, чтобы оконные стёкла повыскочили, чтобы стены задрожали:

«Тулуп, тулуп папин верните!»

Закричал бы, заплакал, да ведь нельзя — гость в доме, тётя Карима. Плакать при гостях не станешь, совестно. Даже, носом шмыгнуть неудобно. Миргасим вытирает нос рукавом, поднимает голову и взглядывает на стену, туда, где всё ещё торчит гвоздь, на котором висела папина шляпа. Как сияла, светилась она в лучах восходящего солнца... Здорово затеняла она в жару нос и щёки Миргасима...

«Зачем я таскал её?»

И вспомнилось, как ловил этой шляпой головастиков на

речке, как набивал шляпу травой, чтобы щенку в ней спалось помягче. И как вдруг с одной спички шляпа вся разом вспыхнула, сгорела. И на чёрном кружочке выжженной травы осталась только горстка пепла...

«Папу, папу моего убили!»

Выбежал из-за сундука, споткнулся, грохнулся на пол. Стыдно, надо бы встать, поздороваться с тётей Каримой, подойти к маме...

Миргасим закрыл глаза, заткнул уши — неужели это он катается по полу, грохает ногами, стучит кулаками?

— Папа! Папа! — кричит он и никак не может сдержать этот крик.

— Встань, Миргасим,— тихо сказала Карима-апа.— Мужчина ты или нет? Мама твоя сколько времени молчала. Одна горе такое несла. Теперь вас двое. И больше никто не должен знать. Не о себе — о бабушке подумай.

— Да, ты никому не говори, сынок,— молвила мама,— бабушка наша этого не вынесет. Ноша такая ей уже не по плечам.

— А брат Мустафа знает?

— Нет, милый. Язык не повернулся сказать ему. Сам он из пекла и опять в пекло. Нельзя было ему говорить, невозможно.

Миргасим не смеет взглянуть на мать, он смотрит вниз, на корабли, баркасы, парусники, челноки, лодки... Качаются они, плывут, уходят далеко-далеко в туман. Уплывают, уплывают из-под ног...

«Подберу потом и сложу обратно в сундук. Пусть бабушка играет... Она старенькая...»

Карима-апа долго ещё говорила, уговаривала. Миргасим не слушал и не слышал. Вспоминал, как летней ночью в круге света белела бумага, на которой ставили свою подпись колхозники, подписывались, чтобы построить самолёт в память о Насыре-кузнеце. И ещё вспомнил он, как пришло Насыровым извещение, но спрятала его от Наили Асия.

— Мама, Асия знает, да?

— Молчи, Миргасим, молчи. Пойми её — ничего нет ей, ни письма, ни привета. Узнает о нашем горе, и лишний раз о своей беде заплачет. Ты понял, Миргасим?

— А Зуферу и Шакире ты сказала?

— В нашей семье, сынок, знаем только мы двое. Ты да я. И никто больше.

— Чужие люди чёрную весть от бабушки скрыли, неужели ты, Миргасим, проболтаешься? — говорит тётя Карима.

— Чтоб изо рта моего жабы и змеи посыпались, если хоть кому-нибудь скажу!

Глава сорок восьмая

ОПЯТЬ ЭТА АСИЯ!

Во дворе бабушкиного дома растут берёзы — четыре деревца.

Берёзки эти не какие-то случайные, безымянные, нет! Каждая знает своё имя: самый мощный ствол — Мустафа, потом Зуфер, стройная, тоненькая Шакире и небольшое раскидистое деревце — Миргасим.

Посадил эти деревья младший сын бабушки Гюльджамал, Гариф, по числу своих детей.

Бывало, глядя на эти четыре дерева, он говорил:

«От этих берёзок пойдут деревья по всей улице, выйдут за околицу, и встанет в степи рощица. От неё пойдёт вдоль по речке лесная полоса, и назовут деревню нашу Берёзовкой, а район — Берёзовским».

Слушая эти речи, кое-кто из колхозников тоже раздобыл саженцы, да, видно, привычки нет у нас к лесу. То посадят неумело, то забудут полить, а то коза объест или телёнок скусит вершинки. Только в бабушкином дворе прижились четыре берёзки да есть ещё одна — у забора колхозного сада. Той берёзке ребята дали имя — Асия, потому что одна она растёт.

Ночи ещё по-зимнему холодны, но днём мальчики бегают по деревне без шапок, а Миргасим уже снова может похвалиться свежими веснушками:

— Вот если бы теперь брат Мустафа посмотрел на мой нос!

Вокруг четырёх берёзок снег подтаял, стволы стоят, как

в чашках с водой. Тени на снегу синие, небо синее, берёзы белые, ветки тонкие, чёрные. Если издали посмотреть — похоже, будто деревня нарисована углем и мелом по синему холсту.

Взглянул Миргасим, как поднимаются белые стволы из круглых синих вмятин на розовом снегу, и отца вспомнил: как стоял он однажды спиной к дому, лицом к степи, а крепкая загорелая рука его обхватила ствол берёзки.

Но вот подул ветер, заколебалась в небе тонкая чёрная сеть ветвей, и отец исчез...

Почему, почему Миргасим увидал отца со спины? Почему не вспомнил лица? Хоть во сне пришёл бы отец! Нет, не приходит. Песня отца однажды тёмной ночью послышалась Миргасиму. Хотел крикнуть: «Папа!» — голоса не стало, хотел навстречу бежать — ноги не слушаются. Проснулся — нет никого. Закрыл глаза — и увидел дядю Насыра: «Хочешь, зубы скую тебе железные, когти медные?» Но лица папы своего не может вспомнить Миргасим. Неужели позабыл? На время ли? Навсегда ли? Вот померещилась серая, низко надвинутая на крутой лоб папаха, круглые брови, озорные зоркие глаза...

Нет! Не отец это. Генерал Доватор. Но как похож он на отца!

А берёзы отцовы каждую ветку чёрную, тонкую к солнцу хотят протянуть. Уже и почки набухли. И птицы поют, щебечут на голых ветках так радостно, что хоть уши заткни да беги подальше.

— Пойдём, Миргасим, в гости к моему дедушке,— вдруг очутилась рядом Асия.

— Думаешь, без тебя дороги не найду?

И он зашагал, сам не зная куда, лишь бы от неё уйти.

Но Асия не отставала. Говорила, говорила! То про сложенные из бумаги кораблики, то про спичечные коробки с бумажными парусами, как плывут они весною по ручейкам и лужам на московских дворах и бульварах.

Болтала-щебетала о весенних ручьях и лужах да и сама чуть в лужу не плюхнулась.

— Надо под ноги смотреть,— сказал Миргасим,— тут тебе не Москва.— И взял её за руку: — Держись.



Так — рука в руке — подошли к ограде колхозного сада, к берёзе. На ветке синица пела свою весеннюю песнь:

«Цици-вю, цици-вю! Цок-цок-цок!»

— Это синица-отец,— сказал Миргасим,— синица-мать так петь не умеет.

Замолчал, задумался. Вспомнил, как зимой птицы летели следом за отцом, садились ему на голову, на плечи. Он вольных птиц кормил с руки. Они знали его, не боялись.

— В Москве,— сказала Асия,— теперь тоже, наверно, синицы поют. Только я прежде почему-то не замечала их. Уж очень шумно в Москве — троллейбусы, трамваи, машины, автобусы... Все грохочут, кричат.

— Этот синица-отец тоже кричит: «Я, я здесь хозяин!» Хочет здесь свой дом поставить, вот и голос подаёт, чтобы никто другой не вздумал строиться. А то корму не хватит птенцам.

— Откуда ты всё это знаешь?

В горле у Миргасима запершило, во рту пересохло.

— Отец, бывало, говорил.

И вновь в памяти возникает отец. Нет, не лицо его, только рука, и на пальце белощёкая птичка с дрожащим хвостом и быстрым взглядом.

Из глубины сада подошёл к ограде Абдракип-бабай, к песне синицы прислушался, на Миргасима посмотрел:

— Прежде в нашем небе только жаворонки звенели. Синица — птица лесная. А как вырастил твой отец этот сад, и синицы дорогу сюда нашли, и зяблики у нас остановку делают, когда с юга летят.

Миргасим хотел проглотить комок, который застрял в горле, нет, не глотается. Он закашлялся.

— Дедушка, пожалуйста,— попросила Асия,— ты о пшенице на опытной делянке расскажи.

— О, если бы ты видел, Миргасим, какие зеленя! Знаешь, откуда твой отец первые семена привёз? Из-под Саратова! Горсть одну всего-то выпросил, для опытов. Высеял и нашей пшеницей цветки саратовские опылил. И так сколько лет повторял и повторял! Бывало, говорил мне: «Пшеница эта будет с крупным, тяжёлым, как свинец, зерном, с крепким, пружи-

нящим колосом...» Знаешь, Миргасим, я-то, старик, возможно, и не доживу, но ты увидишь!

Миргасим дрожал, как в ознобе.

— Брат Зуфер и я, мы своими руками эти снопы осенью обмолотили.

— Тебе холодно? — спросила Асия. — Потому что ты без шапки. Дедушка, дай ему свою... Спасибо. А теперь мы в поле побежим, ту делянку проведает!

Глава сорок девятая

КОЖАНЫЕ БАШМАКИ ПОШЛИ В БАБУШКИН СУНДУК

Стала земля обнажаться, стали зеленя пробиваться.

Самое время сейчас сбросить валенки, обуться в кожаные башмаки, в те самые, что дедушка сшил когда-то для отца Миргасима, когда отец был маленький... Но ноги росли у отца быстро...

Взял Миргасим башмак в руку и снова подумал об отце, вспомнил, как стоял отец прошлой весной у берёзок и ветер трепал его волосы. Стоял он спиной к дому, лицом к степи.

«А лицо папино забыл я, забыл...»

И слёзы потекли по щекам. Впервые с тех пор, как услышал страшную весть, плачет Миргасим.

«Не плачь, не горюй, он живёт в тебе, твой отец. И черты его проступят сквозь твои черты, и жизнь его продолжится твоей жизнью».

Так говорила бабушка Зианше, когда узнали в деревне что Насыр-кузнец убит.

— Ты плачешь, Миргасим? Что случилось?

Но разве можно открыться ей?

Бабушка стала за эту зиму такой старенькой, маленькой...

— О чём ты горюешь, мой внук?

— Не видишь, что ли? Никак не надеваются кожаные башмаки.

— О Миргасим, нога твоя выросла за зиму, и сам ты какой большой стал!

Бабушка взяла башмаки, принялась их чистить. Чистила и напевала песенку:

Ребята, ребята, в игры играйте,
Детство от нас скорыми шагами уходит.
Смейтесь, песни пойте, пока молоды,
Голос к старости угасает.
Ребята, ребята, не плачьте,
Детский смех на всю жизнь запасайте.
Густые ваши кудри пока не потускнели,
Белые зубы пока не пожелтели,
Детские слова пока не позабыты,
Смейтесь, играйте, песни слагайте,
Детство от нас скорыми шагами уходит.

«А сама-то она как маленькая,— думает Миргасим,— песню поёт, головой качает, чуть не пляшет».

Почистила бабушка башмаки, завернула в газету и снова спрятала в свой зелёный сундук.

— Они ещё кому-нибудь пригодятся, когда-нибудь после войны... Дедушка сшил их из самой хорошей кожи, какую можно было достать в старые времена. И сам он был лучший сапожник во всей нашей деревне, а может быть, даже в целом свете. Но ты о башмаках не горюй, мой внук. Были бы ноги, а сапоги будут! — И подала ему мамины старые сапоги.

Миргасим обулся:

— В самый раз!

Он поднял ногу, мама, наклонилась, пощупала:

— Великоваты. Намотай на ноги портянки, потом обувайся. Да поскорее. Сегодня пойдёшь со мной на работу.

С непривычки Миргасим долго возился с портянками. Не удавалось намотать как положено: ровно, гладко. Но бабушка, пока мама не смотрела, помогла. А сапоги-то, конечно, он натянул на ноги сам.

Встал, прошёлся по комнате:

— Нигде не жмёт.

— Вот и хорошо. Возьми в сарае лопату, и пойдём на

ферму. Кроме тебя и меня, нет сегодня свободных рук, чтобы коровники почистить.

Миргасим шагал по весенней, почерневшей дороге. Мама шла чуть впереди, и он видел, как играют блики света на её красной косынке.

Снег ещё лежал по обочинам и на полях, но чёрные птицы с белыми клювами — грачи — уже мерили большими шагами тёмные пятна проталин, словно хозяйство своё на лето у зимы принимали.

Солнце поднялось над горизонтом и отражалось теперь в каждой луже, в каждой ледышке. Хорошо было Миргасиму шагать в маминых сапогах по этой сверкающей, убегающей в небо степной дороге. Он нёс на плече лопату и думал:

«Сегодня так буду работать, что даже Зуфер мне позавидует. Один он в нашем доме мужчина, что ли?»

Старое Шаймурзино — Москва



ОГЛАВЛЕНИЕ

Литературно-художественное издание

Для младшего школьного возраста

Гарф Анна Львовна

КОЖАНЫЕ БАШМАКИ

Повесть

Ответственный редактор *Н. Е. Дубань*
Художественный редактор *Н. З. Левинская*
Технический редактор *И. В. Саврунова*
Корректоры *Т. В. Беспалая, К. И. Каревская*
ИБ № 10154

Сдано в набор 12.08.87. Подписано к печати 08.02.88. Формат $70 \times 90^1/_{16}$. Бум. офс. № 1. Шрифт литературный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,38. Усл. кр.-отт. 17,55. Уч.-изд. л. 12,12. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1790. Цена 80 коп. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



Гарф А. Л.

Г20 Кожаные башмаки: Повесть/Рис. Г. Валька; Оформл. М. Трубецкого.— М.: Дет. лит. 1988.— 223 с.: ил.

ISBN 5—08—001252—8

Действие происходит в первый год Великой Отечественной войны в татарской деревне. В центре повествования — зарождение дружбы татарского мальчика и русской девочки.

Автор рассказывает о щедрости и доброте советских людей; о трудном военном быте, когда все, и взрослые и дети, работали в поле; о том, как дорого ценился каждый кусок хлеба, добытый нелёгким трудом колхозников.

$Г\frac{4803010102—205}{М101(03)-88}186—88$ ББК 84Р7

ISBN 5—08—001252—8



80 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»


Анна Гарф
КОЖАНЫЕ БАШМАКИ